



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев

О Тютчеве как о великом поэте заговорил первый Некрасов.

В 1850 г. в январской книжке «Современника» напечатана статья «Русские второстепенные поэты». «Второстепенные, — объясняет Некрасов, — не по степени достоинства, а по степени известности». Тогда еще самое имя Тютчева не было известно: в пушкинском «Современнике» 30-х годов он подписывал «Ф. Т.».

По поводу «Осеннего вечера»:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть...

«...каждый стих хватает за сердце, — говорит Некрасов, — как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы ветра; их и слушать больно, и перестать слушать жаль».

Недаром услышал Некрасов у Тютчева эти звуки ветра осеннего: ведь его же собственная песнь родилась из той же музыки:

Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует...

Из той же музыки ветра ночного:

О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно?¹

Для Некрасова — о муке рабства, о воле человеческой; для Тютчева — тоже о воле, но иной, нечеловеческой — о «древнем хаосе».

«Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, — продолжает Некрасов, — можно сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен».

О ты, последняя любовь,
Ты и блаженство, и безнадежность!²

Этими двумя намеками — на бурю смерти, бурю хаоса, и на влюбленность, начало космоса, — проникает Некрасов в тайну Тютчева, как никто из критиков.

«Вот почему мы несколько не задумались поставить Ф. Т. рядом с Лермонтовым», — заключает Некрасов. Пушкин, Лермонтов, Тютчев — три вершины, три истока русской поэзии, — это он первый увидел.

Достоевский в надгробной статье о Некрасове поставил не Тютчева, а самого Некрасова «прямо вслед за Пушкиным и Лермонтовым, в ряду поэтов, приходивших с *новым* словом»³. И уж, конечно, недаром вспомнил Достоевский Тютчева по поводу Некрасова: понимал или предчувствовал, что эти две крайности, две тайны русской поэзии сходятся.

Тютчев и Некрасов — воплощенное отрицание и утверждение русской революционной общественности — это в самом деле два полюса, которыми определяется вся грозная сила, все магнитные токи русской поэзии, а может быть, и русской действительности. Ведь именно Тютчев для нас, «детей», — то же, чем был Некрасов для наших «отцов»: не только поэт, но и пророк, учитель жизни.

Жить по Тютчеву значит умереть для Некрасова; жить по Некрасову значит не родиться для Тютчева. Некрасов и Тютчев встречаются в наших сердцах, как враги на поле битвы; как солнце и месяц:

Смотри, как днем туманисто-бело
Чуть брезжит в небе месяц светозарный;
Наступит ночь, и в чистое стекло
Вольет елей душистый и янтарный...⁴

Во дни Некрасова, в морозно-солнечные дни русской общественности, в рабочие будни 60-х годов, не видно было Тютчева, как дневного месяца:

Весь день, как облак тощей,
Он в небесах едва не изнемог;
Настала ночь — и светозарный бог
Сияет...⁵

Настала ночь Некрасова — и засиял Тютчев.

Ночью люди спят; бодрствуют и видят немногие. Эти немногие, увидевшие Тютчева, — Пушкин, Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, Некрасов и, наконец, мы, «декаденты», «дети ночи» по преимуществу. Хорэг, запевало всей новейшей русской поэзии, певец певцов — Тютчев.

Он — сверстник и почти ровесник Пушкина. Что *Silentium* написано в 30-х годах (напечатано в «Молве», в 1835 г.) и, следовательно, почти современно «Евгению Онегину», этому трудно поверить — до такой степени оно сегодняшнее, завтрашнее.

Для чувства и воли нет времени: они движутся в вечности; только мысль, сознание — во времени. Чем сознательнее, тем современнее. Тютчев поэт сознания — вот почему он «современнейший из современников».

«Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата», — говаривал Пушкин⁶. «Глуповата» — непосредственна, нечаянна, бессознательна. Тютчев доказал, что поэзия может и не быть «глуповатою», что ей ума бояться нечего. Пушкин умен, но его поэзия не столько умная, сколько мудрая, вещая. Его сознание уже не наше. Вот почему он вечен, но не современен. Именно здесь, в сознании нашем, Тютчев современнее Пушкина.

Современнейшая из всех наук, можно сказать, источник всей нашей современности, — гносеология, ставящая вопрос о возможности религиозного опыта, религиозного ведения, *гнозиса*. Это «*Сезам отворишь*» всех дверей к будущему. Знать или не знать — быть или не быть современного человечества.

Тютчев не гносеолог в отвлеченном смысле. Как все поэты, он существо крылатое: не лазает по диалектическим лестницам, а летает и видит под собою уступы их в бездонных пропастях сознания.

Некогда чувство разлагалось мыслью, вера — знанием. Теперь не так: мы поняли, что есть глубина чувства, глубина веры — именно там, где вера и чувство соприкасаются с волею, ни для какой мысли не разложимая. Свет сознания, как свет исполнского проектора, только углубляет мрак бессознательного, мрак чувства и воли.

Die Nachtisttief,
Und tiefer, alsder Tag gedacht.
Ночь глубока,
И глубже, чем думал день⁷.

(Ницше)

Чем ярче свет, тем мрак бездоннее.

Потому-то и близок нам, современен Тютчев, что он соединяет, как никто, высшую сознательность с глубочайшей стихийностью. «Мысль его, — говорит Тургенев, — как огненная точка, вспыхивает под влиянием глубокого чувства». Глубина чувства — глубина мысли; огненность чувства — огненность мысли.

Jch singe wie der Vogelsingt*, —

это самое неверное, что можно сказать о Тютчеве. Он менее всего невинен птичьей невинностью. Птица не знает, о чем поет; он знает или, по крайней мере, хочет знать (потому что иногда знать нельзя). Сквозь него, человека, как сквозь рупор, говорят стихии нечеловеческие:

Понятым сердцу языком
Твердят о непонятной муке,
И ноют, и взрывают в нем
Порой неистовые звуки⁹.

Понятное о непонятном, сознательное о бессознательном — в этом вся поэзия Тютчева, вся поэзия нашей современности: красота Ведения, Гнозиса.

Там, где Л. Толстому и Достоевскому нужны целые эпосы, Тютчеву достаточно несколько строк; солнечные системы, туманные пятна «Войны и мира», «Братьев Карамазовых» сжимает он в один кристалл, в один алмаз. Вот почему критика так беспомощно бьется над ним. Его совершенство для нее почти непроницаемо. Этот орешек не так-то легко раскусить: глаз видит, а зуб неймет. Толковать Тютчева — превращать алмаз в уголь.

Мысль делает его всемирным, ибо существо мысли всемирно. Пушкин, даже в лучших переводах, непонятен для нерусских; он только для нас, *изнутри* всемирен. Тютчев, если бы его перевести как следует, был бы так же понятен, как Л. Толстой и Достоевский: он и для мира, извне всемирен.

И вот современнейший, всемирнейший из русских поэтов остается в России неизвестным. Если читатели знают имя его, то разве только по школьным хрестоматиям: «Люблю грозу в начале мая» да «Пошли, Господь, свою отраду». Года два-три назад нельзя было достать в книжных лавках «Стихотворений» Тютчева. Представьте себе, что в России нельзя достать Л. Толстого и Достоевского; а ведь Тютчев для русской

* Я пою, как поет птица (нем.)⁸. — Ред.

лирики сделал почти то же, что они — для русского эпоса. Тут, конечно, виновато наше невежество, одичание критики. Но не только это.

Великие силы в мире духовном, так же как в вещественном, действуют невидимо. Никто не видит радия, но он во всем живом: так Тютчев — в нас, во всех; невидим, неведом, но не бездействен. Мы его не знаем, но им живем. Не видим его, как пойманные мухи не видят стекла, о которое бьются. Влечемся к нему, идем на него, как лунатики с закрытыми глазами идут на лунный свет. И, может быть, именно те, кто менее всех видит его, влекутся к нему более всех. Где-то незримо, неслышно колдует колдун, и все живут под этим колдовством.

Немногие знают высшую математику; но если бы вынуть ее из человеческого знания — лицо земли изменилось бы: телеграфы, телефоны умолкли бы, аэропланы перестали бы летать. Легко понять связь высшей математики с механикой, с движением звука по телеграфной и телефонной проволоке или с полетом аэроплана. Труднее понять связь «Критики чистого разума»¹⁰ с мыслью умирающего о том, что там, за гробом, или с шепотом влюбленного. А между тем если бы вынуть Канта из нашего мышления — что-то изменилось бы в наших предсмертных мыслях и в нашем влюбленном шепоте. Самое сильное — самое тихое. Тише всех, сильнее всех русских поэтов — Тютчев.

Русская поэзия больна, потому что больна Россия. Больна, заражена, отравлена. Чистейший кристалл этого яда или чистейшая культура этой бациллы — в Тютчеве. И никто не знает о нем, как зараженные не знают о первом больном.

Это — зараза наследственная, от отцов к детям: с молоком матери мы всасываем в себя Тютчева, но не помним его, как взрослые не помнят вкуса молока матерного.

Трудно больному судить о болезни: так трудно нам судить о Тютчеве, быть к нему справедливыми; а может быть, и не следует. Быть справедливым, только справедливым — значит быть неподвижным. Двигаться — нарушать равновесие, нарушать справедливость. Будем же не *только* справедливы к Тютчеву, будем любить и ненавидеть его до конца, иначе не поймем, а понять его нам нужно: понять его значит выздороветь.

Лучше всех врачей больной знает боль свою, потому что знает ее *изнутри*: так мы знаем Тютчева лучше всех критиков. Мы уже не ошибемся, как Вл. Соловьев; не примем за поваренную соль кристаллы цианистого калия.

Вот вчерашний русский интеллигент-общественник, эсдек или эсер, говоривший на революционных митингах 1905 года, сегодня разочаровался, уединился и замолчал — захотел «быть как солнце», по Бальмонту, «полюбил себя, как Бога», по З. Гиппиус. Это смешно

и грустно — может быть, даже страшно. Но это так: самоубийство и самоубийственное одиночество сейчас в России — такое же «бытовое явление», как смертная казнь. Кто же это сделал? Русские декаденты — Бальмонт, Блок, Брюсов, Белый, З. Гиппиус? Да, они. Но через них — Тютчев.

А самоубийцы так и не знают, что цианистый калий, которым они отравляются, есть Молчание, *Silentium*:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои...
Лишь жить в самом себе умей...

Его болезнь — наша: индивидуализм, одиночество, безобщественность. Но почему же и самый общественный из русских поэтов, Некрасов, тянется к Тютчеву? И что значит это совпадение русских декадентов с Некрасовым? На какой глубине происходит оно, видно уже по тому, что здесь, в оценке Тютчева, Некрасов совпал не только с декадентами, но и с Пушкиным, началом всех начал.

Не будет ли и в конце того же, что было в начале? Если сейчас Некрасов и Тютчев так враждебны в нас, то не примирятся ли в детях или внуках наших? Вопрос о нашем будущем не есть ли этот вопрос о соединении Тютчева с Некрасовым?

Тайна Некрасова

I

Нужно ли сейчас говорить о Некрасове?

Мы любим справлять юбилеи и ждем для них годовщин, совпадения чисел. Но бывают годы вещи не в памяти чисел, а в памяти сердца. Кажется, именно сейчас такая годовщина наступает для Некрасова.

Нужно вспомнить о нем, если нужно вспомнить о любви к народу и о любви к свободе как о единой любви, нераздельной, хотя и вечно разделяемой, особенно у нас, в России, в наши дни.

Огненное крещение народовластия в свободе совершилось на Западе уже окончательно. Там демократия может изменять себе, вырождаться, из льва делаться кошкою, строить на потухшем вулкане удобные лавочки, продавать свое первородство за чечевичную похлебку мещанства, но соединиться с рабством сознательно, религиозно, не за страх, а за совесть, не может, если бы даже хотела. А в России может. Что русское народолюбие и свободолюбие — не одно и то же, видно по нашей литературе художественной.

Это — литература народолюбивая, народническая в большей степени, чем какая-либо иная. В народе ищет она высшей правды, сначала эстетической (Пушкин, Лермонтов, Гоголь), затем религиозной (Л. Толстой, Достоевский). Но религиозная правда народа — христианство восточное, созерцательное — правда мира нездешнего. Чувство свободы человеческой, как чувство религиозное, в этой правде отсутствует. Всю родную землю «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». И рабство вида, тела Христова, вместе с духом Его принимается народом как неизбежное, почти желанное. Христос не выкупил людей из рабства. «Господь терпел и нам велел». «Рабы, повинуйтесь господам вашим». Свобода без Бога, свобода как бунт — «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Свобода без Бога, или Бог без свободы. Эта религиозная стихия православия отразилась и на русском сознании, на русской литературе.

Крепостное право — колыбель ее. Пеленами рабства повита, молоком рабства вскормлена. Можно сказать, что Державин, Карамзин, Жуковский родились и умерли в том положении тела и духа, в котором старинный придворный пиита, с одою в руках, полз на коленях к трону.

Пушкин встал на ноги. Начал одой Вольности, но обжегшись на молоке, потом всю жизнь дул на воду. Заменял свободу общественную свободой личной, свободой художника: «Ты Царь: живи один». А «политика только для черни, для сволочи»: «La politique n'est faite que pour la canaille»¹¹. Но Пущин, Рылеев, Пестель — неужели «чернь»? Узнав о 14 декабря, поэт выехал из Михайловского, а когда заяц перебежал ему дорогу — вернулся обратно. Не захотел быть мучеником. У него была иная судьба — и благо ему, благо нам, что он исполнил ее: мучеников много у нас, Пушкин — один.

Не захотел быть вольным мучеником и сделался невольным. Когда гроб его, покрытый рогожею, с двумя жандармами, везли тайком из Петербурга в Михайловское, может быть, по той самой дороге, которую перебежал ему заяц 14 декабря, оказалось, что политика в России — не только для черни.

Гоголь — уже мученик вольный. Сам себя замучил, замуровал. «Переписка с друзьями» — отказ от свободы, от воздуха. Проклял свой смех освобождающий, дар Божий, как дар дьявола. Испугался свободы до смерти.

Лермонтов не испугался бы, но умер — задохся, как пламя взрыва без воздуха.

Тургенев бежал, изменил России, чтобы не изменять свободе. «Я всегда был постепенцем, либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ *только свыше*,

принципиальным противником революции, не говоря уже о безобразиях последнего времени», — писал он в 1880 г.

Всю силу своего художественного и религиозного творчества употребил Достоевский на то, чтобы доказать, что русский народ не хочет свободы общественной, что существующий в России порядок — религиозно-истинный; чтобы доказать, что где Дух Господень, там нет свободы; что освобождение, как его понимает Запад, есть отступление от Бога — «человекобожество», а русский народ — «богоносец», именно здесь, в религиозной правде православия — в отречении, терпении, смирении: «Смирись, гордый человек!» Любовь Достоевского — любовь без свободы — не любовь, а жалость. Что ему ближе: социализм старца Зосимы, любящий, или социализм Великого инквизитора, жалеющий, — мы так и не знаем. Тут загадка или западня, в которую он ловит нас, а может быть, и сам ловится.

Одна черта отделяет Л. Толстого от любви освобождающей, но черта заколдованная. «Непротивление злу насилием» — вечная религиозная истина, но в ином порядке историческом, нежели тот, в котором мы *сейчас* находимся. Это цель, предел, указание компасной стрелки, а не средство, не путь, не движение корабля в море. Не надо насилия — это мы все знаем, этого мы все хотим, но *как* этого достигнуть — вот вопрос. Личным подвигом, — отвечает Толстой. Только личным? — Да, только. — А политика, общественность? — «Политика — для сволочи. La politique n'est faite que pour la canaille». Легкий ответ Пушкина Толстой наполнил драгоценною тяжестью, но эта драгоценность — клад, зарытый в землю. К любви освобождающей он ближе всех бессознательно, а в сознании — дальше всех от нее. Безобщественность его, мнимая для нас, для него самого остается подлинной. Его «уход» от мира — уход и от свободы общественной, от революции.

Так все уходит — в смерть, в святость, в жалость, в безумие, в изгнание, в смирение, в неделание — все уходит от свободы. Свобода страшнее, чем смерть. Утверждение, но не освобождение народа. Народолюбие, но не свободолубие.

Как будто всей русской литературе перебежал дорогу тот пушкинский заяц 14 декабря, и вся она сказала с Тютчевым:

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить...
Едва дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула, —
И не осталось и следов¹².

Вот из этой-то крови дымящейся и вышел Некрасов.

Некрасов — явление в русской литературе единственное, единственный художник, соединяющий любовь к народу с любовью к свободе, религиозную правду народную с религиозной правдой всечеловеческой. Расхождение этих двух правд и есть именно та мертвая точка, в которой мы сейчас находимся. Освобождение наше стихийно, бессознательно; сознание наше, слово, литература — неосвободительны. Чтобы сойти с мертвой точки, надо соединить сознание со стихией, слово с делом, русскую литературу с русским освобождением. Это соединение и началось в Некрасове.

Вот почему надо сейчас говорить о нем; вот почему наступает его година вещая в наших сердцах, и не мы к нему, а он к нам идет, как будто нежданный, незванный, непрощенный, — хотим не хотим, а принять его надо.

Пускай чуть слышен голос твой...
Но ты воспрянешь за чертой
Неотразимого забвенья¹³.

Вот почему тоскующая тень его бродит около нас, как будто хочет нам что-то сказать.

Что же именно?

II

«Я чувствую к стихам Некрасова нечто вроде положительного отвращения... От них отзывает тиной, как от леща или карпа». «Пробовал я на днях перечесть его стихотворения... Нет, поэзия и не ночевала тут, и бросил я в угол это жеваное папье-маше с подливкой из острой водки». Это говорит Тургенев, а вот что говорит Л. Толстой:

«Место Некрасова в литературе будет место Крылова. То же фальшивое простонародничанье и та же счастливая карьера, — потрафил по вкусу времени».

Герцен находит в стихах его «злую сухость».

«Что за талант у этого человека! И что за топор его талант!» — восклицает Белинский.

Ап. Григорьев называет стихи его «больничными», а другой критик — «дубовыми».

«Его можно скорее назвать рифмующим публицистом, чем поэтом» — таково среднее общее мнение, выраженное в одной из надгробных статей, появившихся вскоре после смерти поэта.

И время не помогло оценке. В 1902 г. Л. Толстой упоминает о «совершенно лишенном поэтического дара Некрасове». А в 1911 г. Антонович сделал открытие, что «Некрасов не был лириком, а только дидактическим поэтом».

Итак, Некрасов — поэт непризнанный. Его, столь близкого сердцу русских читателей и русской общественности, русская литература художественная выбрасывает, выплевывает с отвращением: этого мы не едим; это нечистое. Какое-то чуждое тело, существо иной породы, иного мира выходцев, втируша, безобразный утенок в курятнике: не наш, не наш — заклевать, затравить!

Какая же этому причина?

Причина более глубокая, внутренняя — в жизненной судьбе, в личности поэта, более внешняя — в его поэзии.

В поэзию он ввел политику, а это грех непрощаемый, потому что политика — антиэстетика. Вот одно из общих мест, слишком поспешно принятых. Политика — пошлость, «печной горшок», а искусство — «божественный мрамор, кумир Бельведерский». Да, может быть так, но может быть и обратное. Именно сейчас, на наших глазах, утверждение искусства как самодовлеющей ценности, эстетизм становятся пошлостью, хуже всех «печных горшков»; сейчас художник мог бы сказать эстету, как Иван Карамазов своему чёрту: «Нет, никогда я не был таким лакеем!» А политика, тоже сейчас, на наших глазах, в великих восстаниях и освобождениях народных, в демократии — самое грозное и грозное из всех явлений всемирно-исторических: если оно не прекрасно, то и гроза тоже.

Мы, так называемые «господа», — олимпийцы сомнительные; народы — титаны не сомнительные. Искусство может быть олимпийским или титаническим. А какое прекраснее, этого пока еще никто не знает. Не понимать красоты титанической олимпийцам свойственно. Но уже и теперь на челе демократии — тот же язык огненный, знамение Духа, как некогда на челе церкви.

Искусство было соборным — церковным; оно, может быть, будет соборным — народным. Сейчас искусство только лично в узком смысле индивидуализм, утверждение одинокой личности: один говорит, все молчат — «народ безмолвствует»; но заговорит когда-нибудь, и голос его, «подобный шуму вод многих», не будет ли тою *новой песнью*, хвалою Всевышнему, которая предсказана как прекраснейшее, что может быть людьми достигнуто?

Некрасов хотел сделать искусство всенародным — пусть неудачно, преждевременно, — но все же *хотел*, первый и, кажется, доньше единственный из всех великих русских поэтов.

Не я, а Достоевский называет его великим, Достоевский — явный друг, тайный враг (ибо революционное народничество Некрасова

в глубочайших метафизических корнях своих противно Достоевскому): «Некрасов, в ряду поэтов, должен прямо стоять за Пушкиным и Лермонтовым», — говорит Достоевский. И Тургенев признался однажды: «А стихи Некрасова, собранные в один фокус, жгутся». Почему же он все-таки не выносит их — потому ли, что дурно пахнут, или потому, что это жгутся?

«Стихи Некрасова действуют не как поэтическое произведение, а как сама действительность», — заметил кто-то из критиков, думая, что это хула¹⁴.

В самом деле, между искусством и действительностью, изображением и тем, что изображается, должна быть черта разделяющая, как рампа между сценой и зрителем. До черты есть то, что есть, а за нею все *как будто* есть, — не есть, а кажется. Вот эта-то черта, это «как будто» у Некрасова почти стирается, так что трудно иногда отличить то, что есть, от того, что кажется. Изображение так выпукло, что глаз обманут, и хочется рукой ощупать предмет. По разве это хула, а не хвала художнику?

Мой суровый, неуклюжий стих|
Нет в тебе творящего искусства,
Но кипит в тебе живая кровь...¹⁵

До такой степени живая, что он сам не знает, что это — изображенная или настоящая кровь?

Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно...¹⁶

Что это, песнь о голоде или сам голод со своим страшным волчьим воем?

«Он часто кричал или по часам тянул громко какую-то однообразную ноту, напоминавшую бурлацкую ноту на Волге», — описывает доктор Белоголовый предсмертную болезнь Некрасова¹⁷. В раннем детстве слышал он эту «песню, подобную стону», и вот, умирающий, затынул ее сам:

Двести уж дней,
Двести ночей

Муки мои продолжаются,

Ночью и днем
В сердце твоём

Стоны мои отзываются¹⁸.

И в нашем сердце тоже. Читая это, мы об искусстве не думаем: не до того. Слишком живо, слишком больно — этого почти нельзя вынести. И только потом, вспоминая, чувствуем, что это предел искусства, тот край, за который оно переливается, как чаша слишком полная.

«Он был очень слаб, — записывает Пыпин в своем дневнике о той же предсмертной болезни Некрасова. — Прочел новое стихотворение, “Колыбельная песня”. Он стоял на постели на коленях, в одной рубашке»¹⁹.

Как не похоже на классических поэтов, торжественно на лире бряцающих; как просто, буднично, но и как зато подлинно!

Он всю жизнь писал так. «Стихи одолели; приходит Муза и выворачивает все наизнанку; начинается волнение, скоро переходящее границы всякой умеренности, — и прежде, чем успел овладеть мыслью, катаюсь по дивану со спазмами в груди; пульс, виски, сердце бьют тревогу — и так, пока не угомонится сверлящая мысль»²⁰.

Когда начну писать,
Перестая и спать, и есть²¹.

Как не похоже на ясное вдохновение Пушкина, «вдохновение геометра»!

Кажется, что у музы Некрасова нет вовсе лиры, а есть только голос. Стихи его, после всех других, как человеческий голос после музыки. Не играет, а поет; не поет, а плачет.

Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою...²²

Это не пение струн, а певучесть рыданий.

В душе кипят рыдающие звуки...²³

И ни единого звука, «под которым не слышно кипенья человеческой крови и слез».

Есть много песен, более стройных, пленительных, но нет более рыдающих, хватающих за сердце.

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой.
Пахарь ли песню вдали запоем, —
Долгая песня за сердце берет²⁴.

Вот эта-то долгая песня и отозвалась в его анапестях и дактилях, таких протяжных, пронзительно-унылых и жалобных.

Бесконечно унылы и жалки
 Эти пастбища, нивы, луга,
 Эти мокрые сонные галки,
 Что сидят на вершине стога...
 Эта кляча с крестьянином пьяным...
 Это мутное небо — хоть плачь!²⁵

Плачет, а любит все это, — только это одно и любит, потому что —

Все, все настоящее русское было,
 Что русскому сердцу мучительно-мило²⁶.

Превращенное в песнь, это и сделалось поэзией Некрасова.
 Музе его не утешиться, —

Как не поднять плакучей иве
 Своих поникнувших ветвей²⁷.

Но если есть красота в скорби человеческой, то песни эти прекрасны.

Тусклые краски, бледные образы, но зато какие звуки! Раз услышав, уже никогда не забудешь. «Это раз пронзает сердце, и навеки остается рана».

Еду ли ночью по улице темной,
 Бури ль заслушаюсь в пасмурный день...²⁸

Все равно, что дальше, — мы уже этими двумя стихами захвачены, как вдруг услышанной музыкой, или даже не музыкой, а тем, из чего сама она рождается, — глубиной чувства несказанного. Так человек молодой, здоровый, счастливый вдруг, услышав вой бури в осеннюю ночь, вспоминает, что есть горе, старость, смерть.

Вообще для Некрасова, как для художника, мир более звучен, чем живописен и образен. Он лучше слышит, чем видит. Слышит все звуки мира с их вещим смыслом — от скрипа тюремной двери —

Мне самому, как скрип тюремной двери,
 Противны стоны сердца моего²⁹, —

до крика журавлей, несущегося в небе, —

Словно переключка
Хранящих сон родной земли
Господних часовых...³⁰

Слышит все звуки, но чаще всех — звук ветра. Не потому ли, что ветер — *вольный*, а сам певец — певец воли по преимуществу? Вся его поэзия, как Эолова арфа, звучит музыкой ветра. Из ветра и самая песня рождается. То из ветра осеннего:

Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует...³¹

То из ветра весеннего, Шума Зеленого:

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый шум, весенний шум...³²

Он слышит, как в снежных тундрах Сибири, над могилой изгнанника —

Встают смерчи, ревут бураны...³³

И как там, во глубине России, где вековая тишина, —

Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив³⁴.

Слышит и последнюю бурю освобождения:

Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!³⁵

«Он ставит цену стихов своих в том, что ни у кого из наших писателей не говорилось так *прямо о деле*», — записывает Пыпин слова Некрасова. Да, «прямо о деле» — лучше нельзя выразить сущность этой поэзии. Высшая ценность ее — дельность, *прагматизм*, как мы теперь сказали бы.

Лежит на ней дельности строгой
И внутренней силы печать³⁶.

В этом — связь Некрасова с Пушкиным, несмотря на всю их противоположность, антиномичность, как будто неразрешимую. Пушкин говорит так же прямо, как Некрасов, хотя и *о другом* деле.

«Прямо о деле» — значит правдиво и просто. Этому завету Пушкина — простоте и правде душевной, простоте и правде художественной — Некрасов остается верен. Стихи его часто бывают прозой, часто не умеет он сказать того, что хочет; но никогда не говорит того, что не хочет, никогда не лжет. Знает, так же как Пушкин, что вечно только простое, прекрасно только правдивое.

От внутренней правды — внутренняя сила и крепость, то здоровье душевное, во всех муках несокрушимое, которое также сближает его с Пушкиным. Если Некрасов и болен, то отнюдь не так, как, например, Тютчев, наш декадентский дедушка. У того зараза в крови, «mal'aria»:

Люблю сие незримо
Кругом разлитое таинственное зло...³⁷

«Люблю зло» — вот чего никогда не сказал бы Некрасов. Искалечен, изломан, но не извращен. Болен, потому что ранен: выньте железо из раны — и будет здоров.

«Прямо к делу» — прямо к воле. Его поэзия волевая, боевая по преимуществу. Мысль и чувство переходят в волю, как свет в огонь — под зажигательным стеклом. Вот почему стихи его «жгутся».

Неуклюжие, суровые, жесткие, грубые, тяжкие. Стихи Пушкина — золотые; стихи Лермонтова — стальные; стихи Некрасова — каменные.

Камни тверды:
Любой попробуй; но огня
Добудешь только из кремня³⁸.

Вся его поэзия — огонь из кремня.
Он был художником, но не *только* художником.

Мне борьба мешала быть поэтом,
Песня мне мешала быть бойцом³⁹.

Последнее, может быть, верно; первое — нет: без борьбы и поэзии бы вовсе не было.

В этом он, пожалуй, изменяет Пушкину, но не он один, а вся русская литература — от Гоголя до Л. Толстого и Достоевского. Хорошо это или дурно — вопрос неразрешимый в пределах оценки только эстетической, так называемого «искусства для искусства». Что выше, искусство для жизни или жизнь для искусства? Красота олимпийская или титаническая? Художник — жрец или жертва?

Сравнивать Некрасова с Пушкиным по силе творчества было бы эстетическим промахом. Художественные неудачи Некрасова так на виду, что о них и говорить не стоит. Но ведь и все по сравнению с Пушкиным — неудачники. Он один — круг; все остальные части круга, незаконченные сегменты или бесконечные параболы. Какая линия движения прекраснее, бесконечнее — круг или парабола, путь солнца или путь комет, — опять вопрос неразрешимый, в пределах оценки только созерцательной. Но в оценке действенной он уже давно решен, по крайней мере для нас, русских читателей.

Наша поэзия — не только поэзия, но и пророчество; не только созерцание, но и действие. Если уж чем-нибудь жертвовать — а жертвовать надо, двигаясь, стремясь к чему-нибудь, то мы во всяком случае пожертвуем не жизнью искусству; и если сам поэт жрец или жертва, то лучше пусть будет жертвою; и если нет огня без пепла, то лучше пусть искусство будет пеплом, а жизнь — огнем.

Так для нас, так и для Некрасова. И в этом он ближе нам, чем Пушкин; в этом нам больше по пути с ним.

Пушкин у нас один, как первая любовь одна. Никого никогда мы так не любим. Некрасова мы любим *иначе*, но кого из них больше, не знаем. Муза Пушкина — наша невеста; муза Некрасова — наша сестра или мать. Бывают минуты, когда мы любим сестру или мать больше невесты. Кажется, именно сейчас такая минута.

Ведь и наша суть, суть русской общественности, та же, что у Некрасова, дух не созерцательный, а действенный, не жреческий, а жертвенный.

Как осажденную крепость, некую Ветилую нагорную от ассирийских полчищ, отделяет русскую интеллигенцию от всей России прошлой, а может быть, и настоящей, глубокий ров. По сию сторону рва — *у нас* — маленькая кучка людей, ненавидящих, любящих и ненавидящих вместе, всю Россию прошлую во имя будущей; по ту сторону — *у них* — с Россией прошлою великая русская литература художественная.

Пушкин увидел ров и отступил, остался у них. Лермонтов — тоже у них, но ни за них, ни за нас. Гоголь сначала был с нами, но потом ушел к ним. Тургенев — то у нас, то у них — вечным перебежчиком. Достоевский подходил к стенам крепости с белым знаменем, но мы его не приняли. Л. Толстого мы звали, но он не пошел к нам.

У нас немые воины, которые умеют сражаться и умирать, но петь не умеют. И вот Некрасов дал голос немым. Запел — и под песню его легче стало жить и умирать.

И до сих пор он наш певец единственный. Это так верно, что если бы с лица земли исчезла вся русская интеллигенция, то можно бы узнать, чем она была в смысле эстетическом, не по Л. Толстому, Достоевскому, Гоголю, Пушкину, а только по Некрасову. В этом смысле Чернышевский прав, утверждая, что Некрасов «величайший из русских поэтов». Величайший — не для всей России, а для маленькой кучки людей, осажденных в крепости.

И теперь, когда стены Ветилуи пали или вот-вот падут, когда ров засыпан или завален трупами, — все еще бой продолжается, смертельный бой врукопашную, под ту же песню — песню Некрасова.

Сейте разумное, доброе, вечное...⁴⁰

Старая песня. Не слишком ли старая, обыкновенная? Но ведь и воздух, и вода обыкновенны. Общее место, но одно из тех общих мест, на которых держится мир, как на законе тяготения. Это наша суть — суть русской интеллигенции, — ее-то Некрасов и высказал.

Как же нам не любить его? Каковы мы, таков и он. Если он плох, значит, и мы плохи, но он все-таки наш, плоть от плоти, кость от кости, наш, единственный. Что же нам делать, если нет у нас другого, лучшего? Отречься от него — значит от себя отречься. Пока жива русская интеллигенция, жив будет и он. «Этот человек остался в нашем сердце». И навеки останется.

Пускай чуть слышен голос твой...
Но ты воспрянешь за чертой
Неотразимого забвенья⁴¹.

Он это предрек, и теперь, на наших глазах, это исполняется.

Мы любим справлять юбилеи и для них ждем годовщин, совпадения чисел. Но существуют години вещи не в памяти чисел, а в памяти сердца. Кажется, именно сейчас такая годовщина наступает для Некрасова.

III

Некрасов — «мерзавец». Некрасов — «великая дрянь». Некрасову «свойственно надувать людей... Он всегда думает скверное». В сношениях с ним «держи камень за пазухой, не доверяясь его элегическому плачу». Фразы его — «фразы из поганых уст». У него «вонючий

цинизм». Он — «злобно зевающий барин, сидящий в грязи». Если «он хандрит», это значит: «Старый наклевавшийся коршун нахотился, ну и чёрт с ним!» И в заключение: «Не валандайся ты с этим архимерзавцем Некрасовым».

Это из писем Тургенева⁴². Тургенев и Некрасов когда-то были друзьями. Какая черная кошка пробежала между ними, мы хорошенько не знаем. Кажется, причиной или поводом к ссоре были какие-то деньги, которых Некрасов не отдал Тургеневу.

«Любезный Тургенев, на днях я тебе написал письмо на тему вроде: пожалуйста, не верь, что я таскаю платки их чужих карманов», — извиняется Некрасов неловко и жалобно⁴³.

«Лучше бы он убил меня из-за угла!» — говорит он по поводу слухов, распространяемых о нем Тургеневым.

А все-таки любит его.

«Дай ему Бог побольше таких врагов, как я!»⁴⁴

Продолжает ему писать, надеясь на примирение, когда уже никакой надежды нет. «Это письмо вынуждено неотступностью мысли о тебе. Это тебя насмешит, но ты мне последние несколько ночей снишься во сне»⁴⁵.

Друг моей юности, ныне мой враг... —

вспоминает о нем перед смертью⁴⁶.

Тургенев наконец сжалился, приехал к умирающему. Бывшие друзья свиделись и молча заплакали.

Тургенев — первый, но не последний враг Некрасова.

«Вот тебе вполне заслуженная награда за дружбу с негодьями», — писал Тургеневу Герцен, по поводу все той же денежной истории⁴⁷.

«Некрасов до понятия о праве высшем еще не дорос, а приобрести его не мог по причине того, что вырос в *грязной положительности* и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер», — писал Белинский Тургеневу⁴⁸.

Грановский, при первом знакомстве с Некрасовым, «поражен непонятным противоречием между мелким торгашом и глубоко чувствующим поэтом»⁴⁹.

Кто-то заметил в нем «почти чичиковскую способность обходиться с людьми»⁵⁰.

«Наживет себе капиталец!» — предсказывал Белинский⁵¹.

Да и все согласны, что он — «человек прожженный и отлично умеет устраивать свои делишки».

«Миллион — вот демон Некрасова, — писал Достоевский в надгробной статье. — Это был самый мрачный и унижительный бес...

Демон гордости, жажды самообеспечения. Я думаю, этот демон присосался еще к сердцу ребенка... Демон осилил человека, и человек никуда не пошел».

Достоевский хочет быть великодушным, защитить Некрасова или хоть кое-как проглотить его, но не может — давится.

«Добивать убитых, обходить всемогущих, презирать бессильных и идти осторожным шагом по битой-перебитой колее, — вот квинт-эссенция его журнальной, а отчасти и поэтической деятельности». Это из газетного некролога, появившегося через три дня после похорон Некрасова⁵².

В родной усадьбе его открыт кабак «Раздолье, с распитием крепких напитков и на вынос». На колыбели — кабак, а на могиле — осиновый кол. Такова благодарность России Некрасову.

Он и сам это предчувствовал:

Свой венец терновый приняла,
Не дрогнув, обесславленная Муза⁵³.

Поэт ненавистен, а человек еще ненавистнее. И причина ненависти к его поэзии именно здесь, в его человеческой личности.

Вор, плут, делец, Чичиков, а главное, вышел из грязи и любит грязь — циник, развратник, картежник. Но ведь это все грехи личные, а ненависть общая, суд общий и общественный — и даже не суд, а казнь, не казнь, а травля.

«На меня устроена просто облава... затравить меня хотят!»⁵⁴

Все на одного, люди на человека, как звери на зверя, больного или раненого: добить, доконать.

Но почему же он не защищается? Не потому ли, что совесть нечиста?

Когда все кричат: «На воре шапка горит!» — он хватается за шапку: ну, значит, вор.

— Иван Иванович, вы таскаете платки из карманов?

— Как вы смеете, милостивый государь!..

— Некрасов, вы таскаете платки из карманов?

— Эх, отец, что платки! Платков-то я, пожалуй, не таскаю, да кое-что похуже делаю...

— Ах, вор! Ах, негодяй!

«Кто из вас без греха, первый брось в него камень». Все бросают, потому что все без греха.

А он что? Ничего, молчит. И даже рад:

И рад я, если кто-нибудь
В меня с презреньем бросит камень⁵⁵.

Чему же рад? Да, чему? Вот где тайна Некрасова и, кажется, вообще тайна русской совести.

Я за то глубоко презираю себя...⁵⁶

Все равно за что — таких признаний делать не следует. Уважай себя, если хочешь, чтоб другие тебя уважали; будь человеком порядочным. А если ты подлец, молчи, скрывай или, по крайней мере, «умей соблюдать и в самой подлости оттенок благородства». Слава Богу, это нынче все умеют; чтобы этого не уметь, надо быть дураком. А что Некрасов — умница, в этом и злейшие враги ему не откажут. Он ли не устраивал своих делишек? А вот главного дела — дела чести не устроил. Везде «потрафлял», а тут не потрафил. В самую нужную минуту не хватило чичиковской ловкости. Все плутовал, обманывал и вдруг взял да и ляпнул правду, и еще какую: презирайте меня, бейте, я того стою, я сам себя презираю больше вашего.

Вообще у людей доброе наружу, а злое внутри. У Некрасова наоборот.

«В нем не было лицемерия. Этого в нем никогда не было. Напротив, в нем был скорее цинизм, чем притворство», — замечает Л. Толстой⁵⁷. Но какой же без притворства Чичиков? Чичиков навыворот?

Кто-то сказал: «Так называемые порядочные люди хуже воров и разбойников». И еще Кто-то: «Мытари и блудницы вперед вас идут в царствие Божие»⁵⁸.

Некрасов чувствовал себя «мытарем», и когда «порядочные люди», глядя на него, молились: «Благодарю Тебя, Господи, что я не как сей мытарь», — он только бил себя в грудь и шептал:

Я за то глубоко презираю себя...

Однажды Тургенев писал Фету: «Застываю и затягиваюсь пленкой, как горшок с топленным салом, выставленный на холод»⁵⁹.

Русские «порядочные люди» — русские обыватели. А ведь, пожалуй, русская обывательщина со всею своею добродетелью — не что иное, как застывающее сало? Мы все едим и похваливаем. Некрасов тоже ел, но не хвалил, а называл сало салом, обывательскую подлость — подлостью.

Он знает не хуже нашего, что стены лбом не пробьешь. Но нет у него нашего умения «соблюдать и в самой подлости оттенок благородства». Его отличие от нас не в мере подлости, а в мере совести, в мере той казни, которой виновный сам себя казнит: мы казним себя жалеючи; он — безжалостно. Вот почему не боится он врагов своих:

Что враги?

Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу⁶⁰.

За какую же вину эта казнь?

За вину рабства, потому что рабство не только несчастье, но и вина.

Муку рабства, как муку совести, он чувствовал с тех пор, как начал помнить себя. Еще не сознавал ее, а уже чувствовал, когда ребенком слушал стон бурлаков на Волге и смотрел на этапы каторжных, проходивших под окнами родной усадьбы; когда в ногах отца его, исправника, валялся избитый мужик, весь в грязи и в крови; когда «кругом насилие ликовало», «кипел разврат волною грязной», а где-нибудь в углу, так, чтобы никто не видел, сын плакал, обнявшись с мученицей-матерью, и знал, что мучитель — отец.

Он вырос, и мука выросла.

Однажды увидел, как мужик бьет лошадь «по плачущим, кротким глазам». Не мерещились ли ему эти глаза, когда он думал о мученице-матери, о Мученице-Родине? Не оттого ли и загоралась в нем та *страсть к страданью*, о которой говорит Достоевский: «Это был человек, страстный к страданию»?

Сытые чувствуют муку рабства духовно; только голодные чувствуют ее кровно, плотски, физически. Так именно чувствовал ее Некрасов.

«Я был очень молод и очень беден; видел голодную смерть лицом к лицу», — вспоминает он о первых годах своего петербургского жителя. Однажды согнали его с квартиры, и он остался один на улице, без ничего, в плохом пальтишке, в холодную осеннюю ночь; побрел куда глаза глядят, не сознавая, куда и зачем, пробрался на Невский и сел там на скамеечку, какие выставляются у ресторанов для посетителей... прозяб... уснул. Подобрали и приютили нищие.

«Ровно три года я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным». Наконец, заболел. Доктора объяснили причину болезни продолжительным голодом. Следы ее остались на всю жизнь: он никогда уже не мог выздороветь как следует. Половину жизни голоден, половину — болен. Одно время обедал на Малой Охте, в ужасной кухмистерской, за 15 копеек на троих. Умирая, говорил, что именно этим обедам обязан зародышем той болезни, которая сводила его, 40 лет спустя, в гроб.

Не лучше рабьего голода и рабья сытость, рабий хлеб:

Хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок...⁶¹

Рабство — болезнь не только души, но и тела. Уже по наследству от предков кровь в нем испорчена. «Во мне мало здоровой крови».

Я плешив,
Я бледен, нервен, я чуть жив,
Я слаб и хрупок, как скелет...

Вот в этой-то муке рабства, телесной, физической, — особенность Некрасова.

Вся русская художественная литература, от Пушкина до Л. Толстого и Достоевского — цвет и плод крепостного права, господской сытости, — шла к народу, склонялась к нему, как спелый плод к земле склоняется. Это — демократия *сверху*, нисходящая; у Некрасова — демократия снизу, восстающая. Эти-то две противоположные тяги и столкнулись в нем, образуя смерч, в котором человек и художник так страшно изломаны.

Можно сказать, оставляя в стороне все мерила духовные, что Пушкин и Л. Толстой вышли из физической сытости, а Некрасов из физического голода. Сытый голодного не разумеет: вот почему русская литература не уразумела Некрасова; вот почему он для нее иного мира выходец. О существовании этого мира, о святой и страшной тайне его он кое-что знал, чего не знает ни Пушкин, ни Л. Толстой. «Не о едином хлебе жив человек», — можно сказать, только дав хлеб голодному, а говорить, отнимая хлеб, — значит кощунствовать над святостью голода.

Песни наши — песни сытых. Но почему только сытые могут петь, а голодные должны молчать? Пусть и они запоют, а если не могут петь, то завоюют волчьим воем от голода. Некрасиво? Ну что ж, зато правдиво. А ведь предмет искусства — правда.

Некрасов дал голос этой немой правде голода.

«Любовь к народу у него была лишь исходом его собственной скорби о себе самом», — говорит Достоевский. Нет, наоборот: скорбь о себе была лишь исходом его любви к народу. Или, вернее, скорбь о народе и скорбь о себе слились в нем так, что он уже не умел отличить одну от другой.

Народ значит рабство, бедность, голод. Кто в них, тот и в нем. В этом смысле Некрасов был в народе. Ту бездну, которая отделяет нас от народа, измерил он не только глазами своими, но и костями — страшным падением, ломающим кости.

Некрасов знал то, чего мы не знаем, — муку рабства телесную; знал и то, что мы знаем, — муку рабства духовную.

Когда он говорил о цензуре, в глазах его было такое выражение, «как в глазах смертельно раненного зверя».

До чего могла дойти эта мука, видно по двум стихотворениям — Комиссарову, спасителю Александра II от каракозовского выстрела, и гр. Муравьеву-Виленскому, усмирителю Польши. Необходимостью и невозможностью спасти иначе «Современник» от гибели старались оправдать эти «два неверных звука».

В стихотворении «Еду ли ночью по улице темной» женщина продает себя, чтобы купить «гробик ребенку и ужин отцу». Так продала себя Муза Некрасова. Этого нельзя оправдать, можно только простить.

«Современник» погиб. Жертва оказалась тем более страшною, что бесполезною, — чем-то вроде убийства старухи Раскольниковым. Для писателя слово — живое создание; словоубийство — человекоубийство. Но разве и цензура не то же самое? И, соглашаясь на нее, не все ли мы в словоубийстве участвуем?

Когда за те два неверных звука друзья отшатнулись от него, а враги обняли —

Пригвождая жирным поцелуем
Несчастливого к позорному столбу⁶², —

в этом для Музы его ничего не было нового: всегда стояла она у того же позорного столба, под тем же кнутом.

«Умоляю вас... отец родной... Бога ради... зачем сечь, когда можно не сечь!..» — писал он однажды цензору⁶³.

А, увидев на Сенной, как молодую крестьянку бьют кнутом, вспомнил о своей Музе:

И Музе я сказал: «Гляди,
Сестра твоя родная!»⁶⁴

Такова «грязная положительность», из которой вышел Некрасов. Вышел, но не ушел, не отрекся от нее. Ему казалось, что лучше быть «мытарем», чем русским «идеалистом и романтиком на наш манер». А если он все-таки был им и больше ничем, то заплатил за это величайшую из мук человеческих — самопрезрением. Для того, кто испытал ее, уже не страшны никакие казни.

Не придумать им казни мучительней,
Той, которую в сердце ношу⁶⁵.

«Шел я по солнечной стороне Невского, — рассказывает Фет. — Вдруг в глаза мне бросилась встречная коляска, за которою я, не будучи в состоянии различить седока, увидел запятки, усеянные гвоздями. Вспомнив стихотворение Некрасова на эту тему, я невольно вообразил

себе его негодование, если бы он, подобно мне, увидел эту коляску. Каково же было мое изумление, когда я узнал Некрасова...»⁶⁶.

Друг любезный,
Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманных книжонок,
Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок⁶⁷, —

вспомнилось Фету.

Он так злорадствует, так хочется ему, чтоб это было, что, пожалуй, он мог увидеть и то, чего не было.

Но пусть было. Фет убежден, и мы с ним, что в коляске с гвоздями не ездим. Ну, а законы, суды, тюрьмы, смертные казни — все ограждения собственности — что же такое, как не гвозди на запятках?

Некрасов когда-то бежал за коляскою, потом сел и поехал. Но о том, как бежал, не забыл.

Два Некрасова: один, ставящий гвозди на запятках; другой, эти же гвозди обличающий.

Как с этим жить? А вот как.

«Точит меня червь, точит. В день 20 раз приходит мне на ум пистолет, и тотчас делается при этой мысли легче».

Жизнь медленное самоубийство, самосожжение на тлеющем огне стыда.

Я стою, бездействен и печален,
И медленно сгораю со стыда⁶⁸.

А может быть, и мы сгорели бы, если бы опомнились? Ведь в каждом из нас есть искра того стыда сжигающего:

Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...⁶⁹

Снять бы хоть гвозди с коляски? А вот суньтесь-ка, попробуйте: как шалуны-ребята, наколетесь до крови.

Умны мы стали: верит мир
Лишь доблести, запечатленной кровью⁷⁰.

В том-то и ужас наш, русский ужас, что нет у нас бескровной доблести, нет середины, постепенности: или сразу подлец, или сразу мученик.

Тот не герой, кто лавром не увит
Иль на щите не вынесен из боя⁷¹.

Но что же делать нам, обыкновенным людям, не подлецам и не героям? А то же, что делал Некрасов, — сгорать, сжигать себя на медленном огне стыда.

Огонь стыда — огонь совести. По этой муке мы только и знаем, что живы. Для каждого из нас, русских обывателей, наступает хоть раз в жизни такая минута, когда «совесть песню свою запекает». И тогда уже нет сомнения, нет колебания между двумя станами. Мы можем не пойти туда, куда зовет совесть, но не услышать зова, не ответить на него не можем.

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!⁷²

Нас хотели уверить, что в этом стане не любовь, а ненависть, что это стан разбойничий — стадо свиней, в которое вошли «бесы». Но мы не поверили, не забыли, а если б и забыли, то Некрасов напомнил бы нам, что именно сейчас в России, более чем когда-либо и где-либо, любовь может быть ненавидящей и ненависть любящей.

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей⁷³.

О связи Некрасова с величайшим явлением русского гнева и русской любви — с освобождением — мы мало знаем. Тут опять тайна его — и наша с ним. Муза его молчит под кнутом. Но мы знаем, *о чем* она молчит, и за это молчание, может быть, больше любим ее, чем за все ее песни.

Не русский взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу⁷⁴.

IV

Что русская совесть есть явление порядка не только нравственного, но и религиозного, — это мы уже начинаем понимать. У Некрасова этого понимания вовсе не было. Его религиозный уровень, по крайней мере, сознательный, — тот же, что у всех русских людей среднего

интеллигентского сознания. Если бы кто-нибудь из литературных единомышленников — Белинский, Добролюбов, Чернышевский — спросил его, верит ли он в Бога, то нет никакого сомнения, что Некрасов удивился бы и даже обиделся: за кого его считают?

В стихотворении Комиссарову больше всего мучил его один «пункт метафизический» (так будто бы он и выразился, по свидетельству Антоновича), самый неверный из «неверных звуков» — эти два слова: «народ православный». Православие, попы, церковь, христианство, религия — все вместе, без разбора, в одну кучу свалено и отвергнуто.

Так думал он; так думали все тогдашние люди среднего интеллигентского сознания.

Он думал так — но так ли чувствовал?

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал Бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе⁷⁵.

Это о Чернышевском. Должно быть, написал, перечел и удивился: что это? зачем? откуда? Христос, крест, Бог — когда речь идет об атеисте отъявленном? Что эти странные слова каким-то глубоким, внутренним светом светятся и что без них все меркнет, мертвеет — он, как художник, разумеется, чувствовал и все-таки зачеркнул их, как будто вдруг застыдился или испугался чего-то. Нет, лучше не надо. Нельзя об этом говорить ни с кем. А с самим собою? Да, бывают минуты, когда и молчать об этом нельзя с самим собою: сколько ни молчи, ни скрывай — все равно скажется, вырвется; бывают минуты, когда —

Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!..
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил
И облегченный уходил.
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной...⁷⁶

Опять — совесть: «совесть песню свою запеваает», старую, вечную, но теперь уже каким-то другим, «неземным» голосом. И если тот,

земной, — неодолим, то этот еще неодолимее; и если того нельзя не услышать, то этого тем более.

Я внял, я детски умилился...
 И долго я рыдал и бился
 О плиты старые челом,
 Чтобы простил, чтоб заступился,
 Чтоб осенил меня крестом
 Бог угнетенных, Бог скорбящих,
 Бог поколений, предстоящих
 Пред этим скудным алтарем!⁷⁷

В русской литературе нет ничего подобного: никто из русских писателей так не молился или, по крайней мере, так не жаждал молитвы. И то, что он думает одно, а чувствует другое, в Бога не верует, а молится, — не уменьшает, а увеличивает искренность чувства: взрыв тем сильнее, чем порох сжатее. И если он вообще в стихах своих шел «прямо к делу», то в этих особенно — к самому главному делу жизни своей — к соединению с народом. Здесь, и только здесь, в чувстве религиозном, он уже одно с народом. Пусть только на миг — этот миг вечный: пройдет и вернется; это было и будет опять — будет всегда.

О сближении Некрасова с народолюбцами, с тем подпольным кружком, из которого вышли впоследствии такие люди, как Желябов, А. Д. Михайлов, Софья Перовская, мы почти ничего не знаем; знаем только, что это сближение имело на него большое влияние в последние годы жизни.

Великие, страдальческие тени...
 На чьих гробах я преклонял колени
 И клятвы мести грозно повторял⁷⁸.

Это не о них сказано, но о близких к ним. А это уже о них самих:

Я сбросила мертвящие оковы
 Друзей, семьи, родного очага,
 Ушла туда, где чтут пути Христовы,
 Где стерегут оплошного врага...⁷⁹

Он не мог сказать больше, но мы понимаем, что значит: «стереечь оплошного врага». И в этом — пути Христовы?

Там, где Достоевский видел «бесов», Некрасов увидел Христа.

И всего удивительнее, что это никем не замечено. Только теперь, через 35 лет, через 1905 год, выступает перед нами эта религиозная тайнопись, как бесцветные чернила на пламени свечи.

Мы теперь уже знаем по точным исследованиям историческим (см. книгу Богучарского «Активное народничество 70-х годов»), что тогдашнее революционное народничество в своих высших точках было явлением *религиозной совести* — религиозной в самом подлинном, христианском смысле этого слова.

«Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю», — отвечал глава народовольцев Желябов на предложенный ему председателем суда в 1881 году вопрос о вероисповедании.

«Бог, это правда, любовь, и я в этом смысле с чистою совестью говорю о Боге, в которого верю...» — слова другого вождя народовольцев, А. Д. Михайлова.

Это в них во всех *было*, хотя сами они об этом не знали, как не знает камень, что в нем тaitся огонь, пока не ударит железо.

Это было и в Некрасове. И здесь он ближе к нам, современнее всех наших современников. Через головы их он протягивает руку будущему — тому, что можно бы назвать *религиозным народничеством*.

Здесь последняя тайна его, которая, может быть, осталась для него самого неразгаданной, по крайней мере, в жизни. Но то, чего не успела сделать жизнь, кончила смерть.

В смерти его самое ужасное — не страдания физические, хотя и они ужаснее всего, что можно себе представить.

«Последние песни» всем нам памяtnы. Этого нельзя читать без содрогания.

Черный день! как нищий просит хлеба,
Смерти, смерти я прошу у неба...⁸⁰

«Страдания усилились необычайно, — рассказывает очевидец. Он рвал на себе белье, схватывал себя за голову».

«Он говорил, что обратился в животное, — рассказывает другой очевидец. — И действительно, жизнь эта была ужасна по своему животному однообразию».

«Он казался почти трупом, так что странно было даже видеть, что этот труп говорит, шевелит губами».

И вот в этом полутрупe, полуживотном совершается самое великое, святое и страшное дело — дело совести.

Существует портрет умирающего Некрасова. Под одеялом высохшее тело; лысая голова на подушках; одну руку он поднял ко рту, должно

быть, привычно-болезненным движением, неловким и застенчивым; глаза страдальческие, но добрые, тихие, только немного удивленные.

«Умиравший Некрасов и со мной, и со многими другими заводил свои затрудненные, оправдательно-покаянные речи, — вспоминает Михайловский. — Очевидно было страстное желание выложить всю душу... страстное, последнее в жизни желание раскрыть *тайну этой жизни*».

Это и есть последняя тайна его, которую должна была раскрыть смерть.

«Но умирающий не находил слов, — продолжает Михайловский. — Не мог ни другим рассказать, ни себе уяснить эту смесь добра и зла. Он старался, не мог и мучился... Я не видел более тяжелой работы совести, да не дай Бог и увидеть».

«Худо мне! — записывает Некрасов в предсмертном дневнике. — Мой дом — постель, мой мир — две комнаты... Стихов уже писать не могу... Очень тяжело растревоживать мысли — сейчас боли, как и в эту минуту... *Ничего не понимаю, что со мною делается. Очень тяжело...*»

Вот эта-то тяжесть непонимания, недоумения ужаснее всех физических мук.

В комнате висели по стенам портреты Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

На меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен⁸¹.

На его вопрос: «Что со мною делается?» — не могут и они ответить. Всю жизнь были с ним, но в смерти покинули его. Иная судьба у них: не так жили, как он, не так и умерли. На огне человеческой совести сгорели, как драгоценное дерево. А он — кремень: чтобы его раскалить, нужен иной огонь.

Уж не то ли с ним происходит, что с дядей Власом, который тоже был великим грешником, но, увидев тьму кромешную, покался, и «сила вся души великая в дело Божие ушла»?

Нет, Влас — темный мужик, а Некрасов человек просвещенный. Между ним и Власом — тот «метафизический пункт», который так мучил его, — отрицание православия. Конечно, в этом отрицании православия он с нами сходится. Религиозное чувство есть у него, но нет религиозного сознания. А для воли мало чувства: нужно чувство и сознание вместе. Воля же теперь ему нужнее, чем когда-либо, для дела величайшего из дел человеческих — для смерти

Тот, чья жизнь бесполезно разбилась
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце неробкое билось,
Что умел он любить⁸².

Вот почему просит он у всех помощи. Но никто ему не может помочь и даже понять не может, так же как он сам не понимает, «что с ним делается». Все отходят, и он один, как погребенный заживо.

Зовет на помощь Музу последнего друга.

О, Муза! ты была мне другом,
Приди на мой последний зов...⁸³

Муза пришла, но чтобы проститься навеки

«Нет больше песен! мрак в очах...
Сказать умрем! конец надежде!
Я прибрела на костылях»...⁸⁴

Конец надежде, конец всему? Умер, как жил, бессовестно, бессмысленно, безбожно? Погиб?

Нет не погиб; чудо свершилось.

Слушая рассказы его о детстве и матери, Достоевский предвидел, что «если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его в самые темные и роковые мгновения судьбы его», то это любовь к матери.

Некрасов это и сам предчувствовал. Всю жизнь спасала его эта любовь.

Увлекаем бесславною битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Подымался твоею молитвою,
Снова падал и вовсе упал...⁸⁵

Но и в самой глубине падения он знал, что она его не покинет, в минуту последней гибели придет спасти.

И вот пришла:

«Пора с полуденного зноя,
Пора, пора под сень покоя;
Усни, усни, касатик мой!
Прими трудов венец желанный,
Уж ты не раб — ты царь венчанный;
Ничто не властно над тобой!
Не страшен гроб, я с ним знакома;
Не бойся молнии и грома
Не бойся цепи и бича,

Не бойся яда и меча,
 Ни беззаконья, ни закона,
 Ни урагана, ни грозы,
 Ни человеческого стона,
 Ни человеческой слезы.
 Усни, страдалец терпеливый!
 Свободной, гордой и счастливой
 Увидишь родину свою;
 Баю-баю-баю-баю!»⁸⁶

Колыбельная песня — надгробная. Смерть и рождение соединяются. Это так свято, что об этом нельзя говорить, да и нет слов. Это молитва без имени Божьего; любовь матери к сыну — человеческая, только человеческая. Но как Сын Человеческий — Сын Божий, так, может быть, и Матерь Человеческая — Матерь Божья.

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
 Пред Твоим образом — ярким сиянием...⁸⁷

И если далее сиянье потухнет, все еще будет гореть молитва.

К теплой Заступнице мира холодного.

«Красота спасет мир»? Нет, красота — только сияние, только заря не взошедшего солнца любви. Не красота спасет мир, а любовь, Вечное Материнство, вечная Женственность.

Родная мать — родная земля. «Земля Божья», — говорит русский народ. Это значит: земля ничья, земля общая, свободная; только свободная земля — Божья. Тут уже свобода с Богом. Раскрытая в христианстве тайна о небе — любовь есть Бог; нераскрытая тайна о земле — свобода есть Бог.

Вот что хочет нам сказать Некрасов; вот зачем его тоскующая тень бродит около нас.

Тайна Тютчева

I

Низенький, худенький старичок, хилый и немощный, —

Беспомощный и убогий, —

как он сам о себе говорит, похожий на «облак тощий», на изнемогающий дневной месяц.

Вот он сидит у себя в жарко натопленной комнате, зябнет и кутается в плед; или бредет по улице в помятой шляпе и волочит по земле рукав поношенной шубы. Задумчив, рассеян, одет небрежно, «ни на одну пуговицу не застегнут как следует».

Бритое лицо в очках напоминает старого немца, учителя музыки. Редкие, мягкие седые волосы, отстающие от висков, всклокоченные:

Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах...⁸⁸

Болезненно сжатые губы. Глаза утомленные, как бы ослепленные блеском своей собственной мысли; в этих глазах —

Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет и не может...⁸⁹

По внешности так же трудно судить о нем, как по черепку могильной урны о хранившихся в ней благовониях и о слезах, над нею пролитых.

«Тютчевы принадлежали к старинному русскому дворянству. В Никоновской летописи упоминается “хитрый муж”, Захар Тютчев, которого Дмитрий Донской перед началом Кулаковского побоища подсылал к Мамаю. В числе воевод Иоанна III, усмирявших Псков, называется также “воевода Борис Тютчев Слепой”. А в половине XVIII века брянские помещики Тютчевы славились лишь разгулом и произволом, доходившим до неистовства» («Биография Ф. И. Тютчева», И. С. Аксаков).

Если не все, то очень многое в личности, в жизни и в поэзии Тютчева образовано, как верно заметил Аксаков, «старым дворянским бытом», крепостным правом: тютчевщина — обломовщина; обеспеченность и беспечность, праздность и лень. Старый дядька Николай Афанасьевич Хлопов взлелеял его с 4-летнего возраста и потом всю жизнь нянчился с ним. Всю жизнь оставался он «хлоповским дитятею». В Мюнхене, так же как в родной усадьбе, жил не по Шеллингу, а по Хлопову.

Будучи секретарем посольства в Турине, запер однажды дверь на ключ и, никому не сказавшись, уехал в Швейцарию. Когда Николай I узнал об этом, то велел ему подать в отставку и снял с него камергерство. Потом ему вернули все, и он успокоился на теплом местечке, председателем комитета иностранной цензуры.

Бродить без дела и без цели⁹⁰ —

такова мудрость Хлопова, мудрость Тютчева. «Ум его парил, а сам он будто свинцовыми гириями прикован был долу немощью воли,

страстями, избалованностью. Ум деятельный, не знавший ни отдыха, ни истомы, при совершенной неспособности к действию» (Аксаков).

Как будто родился стариком и никогда не был молод.

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым пламенем брести!⁹¹

Вся его жизнь — «духовный обморок», «страдальческий застой» — не жизнь, а смерть заживо.

Каким-то сном усопшей тени
Я спал, зарытый, но живой⁹².

Тут в самой жизни, в судьбе Тютчева — противоположное подобие Некрасову: в русском барстве, в русском рабстве — Тютчев, как на ложе из роз, убаюкан смертною негою, а Некрасов измучен смертною мукою, изранен до смерти шипами тех же роз. Растлевающая мука и растлевающая нега рабства.

Сам Тютчев — «весь добродушие и незлобие», но в жизни его что-то недоброе, неладное, какая-то злая сила, начало смерти, тления, разрушения.

Поэзия, творчество не борется в нем с этою силою разрушительной, а само становится ею. Поэт делает все, что от него зависит, чтобы уничтожить в себе поэзию.

«Его стихи увидели свет только благодаря случайному, постороннему вмешательству» (Аксаков). У него отвращение к виду печатных строк. «При издании своих стихотворений он был в стороне; за него распоряжались, рядили и судили другие; он даже и не заглянул в эту книжечку. Не было возможности достать подлинников руки поэта, ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех списках, которые удалось добыть частью от родных, частью от посторонних. Ему доставлено было оглавление: оно пролежало у него месяц и было возвращено не просмотренное».

Не мог склонить своей я лени праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась⁹³.

Князь Гагарин, иезуит, в 1836 году собрал и послал Пушкину стихи Тютчева. Пушкин напечатал их в «Современнике». «Он ценит их, как должно, и отзывается о них весьма сочувственно», — пишет Гагарин.

«А все же я очень сомневаюсь, чтобы мое бумагомарание заслуживало чести быть напечатанным», — возражает Тютчев⁹⁴.

Что это? Скромность гения? Может быть. Но и лень Обломова. Зарывает талант в землю, как ленивый раб; зажегши свечу, ставит ее под сосуд.

Да, если бы от него зависело, он истребил бы себя из русской поэзии.

«Однажды жег ненужные бумаги и нечаянно бросил в огонь тетрадь со стихами».

«Я довольно скоро утешился, вспомнив, что сгорела и Александрийская библиотека», — шутил он впоследствии⁹⁵.

Злая шутка. Тут за видимой легкостью какая-то страшная тяжесть. Кажется иногда, что не только эту тетрадь со стихами, но и всю свою поэзию — дар Божий — готов кинуть в огонь, как сор.

Нелюбовь к славе — одно из двух: или смирение, или презрение к людям. Что же именно у Тютчева?

В славе человек высказывается, общается с людьми, отдает себя людям. А жажда забвения — жажда одиночества. — Тютчев бежит от славы, потому что бежит от людей, скрывается и что-то скрывает от них, таит, молчит.

Молчи, скрывайся и таи...⁹⁶

Славобоязнь — светобоязнь. В свете все тайное делается явным. Но этого-то он и боится. Свет славы жжет ему глаза.

О, как лучи его багровы,
Как жгут они мои глаза!
Ночь, ночь, о, где твой покровы,
Твой тихий сумрак и роса!⁹⁷

Нас, дневных, пугает ночь. В ночи и в тайне происходит самое святое и самое грешное. Что же именно у Тютчева?

Так же как поэзию, силу творчества, уничтожает он в себе и другую великую силу — любовь к родине.

Потомок древнего рода, уходящего во тьму веков, он, казалось бы, должен быть связан с родиной корнями крепкими, как корни дуба. Но вот оказывается, что он — как срезанный цветок, опущенный в воду, которому все равно, где цвести и вянуть.

В 1822 году граф Остерман-Толстой, родственник Федора Ивановича, усадил его, 18-летнего мальчика, с собой в карету и увез за границу, в Мюнхен. Он уехал из России мальчиком, а вернулся почти стариком. С лишком 22 года, лучшие годы жизни, провел на чужбине. «Перестает как бы существовать для России. Самое имя его забывается». О том, что происходило с ним в эти годы, мы почти ничего не знаем: тут пробел,

провал в жизнеописании Тютчева — то «молчание», *silentium*, которого так хотелось ему. Там, за границую, он женился, стал отцом семейства, овдовел, снова женился, оба раза на иностранках, не знавших ни слова по-русски, так что целые годы не слышал русской речи, наконец сам сделался «почти иностранцем», и когда вернулся на родину, она показалась ему чужбиною.

Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный
 Был для души моей родимым краем...⁹⁸

Славянофил, «народник», воспевающий «эти бедные селенья, эту скудную природу», он даже в течение двух недель не мог ужиться в русской деревенской глуши, напр. в своем родовом поместье Брянского уезда (Аксаков). Только и думал о том, как бы бежать из России.

От родины отрекается с такою же легкостью, как от поэзии. Но может быть, и за эту легкостью та же страшная тяжесть — самоубийство, саморазрушение?

«Он был совершенно чужд в своем домашнем быту не только православно-церковных обычаев, но даже и прямых отношений к церковно-русской стихии», — говорит Аксаков. Это значит: жил, как все русские интеллигенты, «безбожники».

...От языка, от родины, от веры отцов — от всего отрекается. Для чего? На этот вопрос в жизни его нет ответа — ответ в его поэзии.

«Божественный старец», — умиляется Фет⁹⁹. Да, наружность Тютчева обманчива: старичок добренький, тихенький — мухи не обидит, воды не замутит; никому зла не сделает; просидел всю жизнь в халате обломовском, хлоповском, что-то писал, бросал бумажки в огонь да вздыхал, глядя, как тлеют они:

Так грустно тлится жизнь моя...

Вся жизнь — тление, пустое или опустошенное место. Но если взглядеться в жизнь его сквозь его же поэзию, то начинает казаться, что пустое место — темная яма, и тьма, в темноте, колдует колдун — и «божественное» лицо становится демоническим; начинает казаться, что не только в поэзии, но и в жизни его — колдовство и сам колдун заколдованный; что не только в поэзии, но и в жизни его — отравы и сам отравитель отравленный, «сглаженный», «порченный».

У Тургенева есть «Рассказ отца Алексея».

Сын священника, десятилетний мальчик Яков, повстречался однажды в лесу с каким-то «старичком зеленым».

«— Маленький старичок с горбиною, ножками все семенит и посмеивается — и весь, как лист, зеленый.

— Как, и лицо зеленое?

— И лицо, и волосы, и самые даже глаза.

— Ты, чай, заснул в лесу, на припеке, да и видел старичка того во сне...»

Старичок дал Якову вкусных орешков: «Ядрышко небольшое, вроде кафтанчика, словно шероховатое; на наши обыкновенные орехи не похоже».

Прошли годы, мальчик вырос и оказался *порченым*.

«Не узнаю я моего Якова, — рассказывает о. Алексей. — Скучный такой стал, угрюмый, слова от него не добьешься... Дичится, словно волк, и глядит все исподлобья... А то вдруг возьмет да уставится в угол и словно весь околеченет... Жутко таково!

Вот однажды, улуча время, стал я слезно молить Якова: скажи, мол, мне, как отцу по плоти и по духу, Яша, что с тобою?

— Ну, батюшка, — говорит он мне вдруг, — разжалобил ты меня; скажу я тебе всю правду. Вот уже четвертый месяц, как я его вижу...

— Его? Кого *его*?

— Да того... что к ночи называть неудобно.

Я так и похолодел весь и затрясся. Вспомнился мне вдруг старичок в лесу, что каштанчик ему подарил.

— Какой он из себя, — говорю, — зеленый?

— Нет, не зеленый, а черный.

— С рогами?

— Нет, он как человек — только весь черный.

— Да это тень тебе мерещится, — говорю я, — это чернота от тени...»

Судьба Якова — судьба Тютчева. Он тоже повстречался в лесу со старичком зеленым или, может быть, увидел его во сне, уснув на припеке в один из тех жарких дней, которые так любил:

И всю природу, как туман,
 Дремота жаркая объемлет;
 И сам теперь Великий Пан
 В пещере нимф спокойно дремлет¹⁰⁰.

Недаром зеленый старичок «посмеивается и семенит ножками»: рожки у него козлиные; это веселый бог или бес, русский леший или древний Пан. *Пан* значит *Все*: все — Бог всебожие, пантеизм — религия Тютчева.

Пан спел ему страшную песню «про древний хаос, про родимый» и подарил волшебную свирель, полную звуками хаоса, подарил также волшебный орешек, плод чужой земли: как съел он его, так и почувствовал, что родина стала чужбиною, чужбина — родиной:

Край иной — родимый край...¹⁰¹

И отрекся от веры отцов своих, сделался безбожником, перестал ходить в церковь: бес его не пускает, древний бог новый бес.

И окаменел, одичал, замолчал:

Молчи, скрывайся и таи..

«Чернота от тени» легла на него и окружила его «паническим ужасом».

Вглядимся же в эту черноту, в этот ужас — в поэзию Тютчева.

II

Жизнь — сон. Вообще живые спят мертвым сном и ничего не видят, кроме того, что им снится; но иногда сон становится прозрачным, как бы предутренним; спящий знает, что спит, и сквозь сон, сквозь жизнь видит иную действительность. Сон жизни — «Сон на море»:

И море, и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
И две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне...¹⁰²

Одна беспредельность — мир стихийный, «мир как воля» — хаос; другая — мир человеческий, «мир как представление» — космос. Космос «веет легко над гремящею тьмою хаоса» — легко, беззвучно и прозрачно, потому что прозрачно, как сон «в лучах огневицы», горячки, «болезненно-яркий, волшебнo-немой». Дурной сон, бред, наваждение, злое волшебство, черная магия: не даром сквозь сон слышится спящему грохот пучины, грохот хаоса, «как дикий волшебника вой». Древний Хаос — отец сущего, «отец лжи» (ибо все сущее — ложь), воет свои заклинания, вызывает лживые призраки космоса, чтобы обольстить, заманить человека в свою темную бездну и там уничтожить.

Если бы Шопенгауэр знал Тютчева, то привел бы эти стихи как лучшее истолкование «Мира как воли и представления».

Чтобы понять мир, надо вывернуть его наизнанку, почувствовать обратное тому, что чувствуют все: сон, как явь; явь, как сон.

Затих повсюду шум и гам,
И воцарилось молчанье;
Ходили тени по стенам
И полусонное мерцанье...
И мне казалось, что меня
Какой-то миротворный гений
Из пышно-золотого дня
Увлёк незримо в царство теней¹⁰³.

Что это, пробуждение или засыпание? Явь или сон? Ни то, ни другое, а сумеречная полоса между тем и другим, «порог двойного бытия».

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!¹⁰⁴

Мы это чувствуем изредка, а он — всегда; нам нужно усилие, чтобы дойти до этого, а ему — чтобы уйти от этого. Для нас воля сознанием освещается, а для него — заменяется; не ночь — покров дня, а день — покров ночи; «златотканый, наброшенный над бездной безымянной»:

Но меркнет день, настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена¹⁰⁵.

Меркнет сознание — и обнажается бездна воли, бездна мрака. Мрак истинен, свет лжив; свет *кажется*, мрак *есть*.

«Двойное бытие» — условие того, что люди когда-то называли «магией». Все явления мира здешнего — клавиши, звонкие рычаги миров иных: ударишь по клавише — отзовется струна; коснешься явления — ответит сущность.

Никто так не умеет играть на этих клавишах, как Тютчев. Вот почему стихи его подобны заклинаниям, волшебным зовам и шепотам: хотим не хотим, мы идем туда, куда он зовет; его глазами смотрим, его ушами слушаем; мы — в нем, он — в нас. Можно не вступать в волшебный круг, но раз вступив, уже не вырвешься: прежде чем поняли, что это, мы уже заколдованы.

Двойное бытие — условие всякой религии. Но различие начинается там, где определяется отношение двух бытий, двух миров.

Христианство утверждает их родственную связь, их последнее соединение в Боге. Если христианство — религия положительная, то религия отрицательная, антирелигия, — буддизм, утверждающий вечное разделение, отчуждение двух миров: может быть, и есть в здешнем мире что-нибудь нездешнее, божественное, но связи с божественным для человека нет, нет религии (*religio* и значит *связь*).

И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем¹⁰⁶.

Человеческая мысль, как струя фонтана, жадно рвется к небу:

Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный, преломляя,
Свергает в брызгах с высоты¹⁰⁷.

Человек — не сын Божий, а «сирота бездомный». Сила, правящая миром, — слепая и злая, вражья:

Пред стихийной вражьей силой,
Молча руки опустя,
Человек стоит уныло,
Беспомощное дитя¹⁰⁸.

Человек — сирота, и весь мир тоже:

И мнится: мир осиротелый
Неотразимый рок настиг¹⁰⁹.

Христианство, утверждая воплощение Бога в мире, тем самым утверждает незыблемую точку опоры для воли, для действия, несокрушимую скалу в призрачной зыби явлений: есть за что ухватиться, есть на что опереться. Если мир здешний, временный — уже начало мира вечного, то есть что делать и делать стоит. Вот почему христианство — религия действия, и сколько бы ни отрекался христианский Запад от своего религиозного сознания — в своем бессознательном действии он утверждает самую сущность христианства.

Но если, как утверждает буддийский Восток, весь мир явлений — только призрак, только лживый покров, *Майя*, над бездной ничтожества; если тот мир — хаос, разрушение, уничтожение этого мира, то нет

никакой точки опоры для воли, для действия: ухватиться не за что, опереться не на что: за что ни ухватишься — все тает, как дым; на что ни обопрешься — все рушится. И делать нечего, — ничего не стоит делать, игра не стоит свеч. Вот почему буддизм — религия бездействия, религия созерцания по преимуществу. Такова религия Тютчева.

Удел человека в действии — удел орла в полете.

Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего!
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией Божество.
Она между двойною бездной
Лелеет твой всезрячий сон,
И, полный славы, твердью звездной
Ты отовсюду окружен¹¹⁰.

Над ним — твердь настоящая, под ним — отражение. Но это второе небо, нижнее — только обман зрения: спящему лебедю стоит проснуться, пошевелиться, чтобы разбилось водное зеркало и небо внизу сделалось омутом. А может быть, и сам лебедь только оборотень, манящий в омут: бросься в него — и погибнешь. Знает ли это колдун, вызвавший оборотня? Если и знает, то молчит:

Молчи, скрывайся и таи...

Человек человеку нужен в действии. Действие соединяет, созерцание уединяет.

Созерцание людей — толпа, а толпа — насилие:

Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей...¹¹¹

И одна молитва у души — уйти от людей, от жизни:

Душа моя — Элизиум теней...
Что общего меж жизнью и тобою?¹¹²

Уйти от жизни — от пошлости:

О, если бы живые крылья
Души, парящей над землей,
Ее спасали от насилья
Безмерной пошлости людской!¹¹³

Нехорошо быть человеку одному? Нет, только одному и хорошо; только на безлюдных вершинах последняя радость:

Вот взобрался я на вершину,
Сижу здесь, радостен и тих...
Ты к людям, ключ, спешись в долину, —
Попробуй — каково у них!¹¹⁴

Чем дальше от людей, тем радостней:

Душа хотела б быть звездой...

Кажется, дальше нельзя? Нет, можно:

Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как в небе полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, —
Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом¹¹⁵.

Быть невидимым — быть божественным; уединение — обожествление, а человек хочет быть Богом, хотя бы только во сне:

По высям творенья, как Бог, я шагал, —
И мир подо мною недвижно сиял...¹¹⁶

Слова соединяют людей, молчание уединяет. Но если не нужно соединение, то и слов не нужно. В словах — ложь:

Мысль изреченная есть ложь.

Истина — в молчании:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои...
Лишь жить в самом себе умей¹¹⁷.

Вот чистейший кристалл того яда, которым все мы отравлены, — наиболее противоположная христианству заповедь нелюбви. Страшная

заповедь — и всего страшнее то, что она не ложь: чтобы любить других, как себя, отдать себя другим — надо сперва найти себя, *познать себя*; а кто смеет сказать, что он это сделал?

Религия молчания — *Silentium* — не ложь, а половина истины, которая без другой половины убийственнее всякой лжи.

Двумя силами движется мир человеческий, так же как стихийный: силой притяжения и силой отталкивания атомов-личностей. Из этих двух сил только одну — силу отталкивания утверждает Тютчев. Но если бы исполнилось то, чего он хочет, то мир человеческий, так же как стихийный, распался бы в хаос.

В мире человеческом — ложь и зло, но в мире стихийном — истина и благо — так думал он сначала.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе;
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?¹¹⁸

Вопрос остался без ответа, но зато углубился до бесконечности, когда вопрошающий увидел, что разлад — не только между человеком и природой, но и в самой природе, что зло — в самом корне бытия, в самой сущности мира как воли.

Не только жизнь человека, но жизнь природы — дурной сон. Как больная, мечется она в жару «огневицы» и жаждет вечного сумрака, вечной свежести небытия. Чувство жизни в теле природы, как в теле человеческом — чувство больного в ослепительно-яркий и знойный день.

Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах,
На мне, я чувю, тяготеет
Вчерашний зной, вчерашний прах.
О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенья, говор, клики
Младого, пламенного дня!
О, как лучи его багровы,
Как жгут они мои глаза!
Ночь, ночь, о, где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса!¹¹⁹

Свет и сумрак, зной и свежесть — это на тысячи ладов повторяется. Недоступный сумрак, чтобы сделать свет ослепительней; недоступная свежесть, чтобы сделать зной нестерпимее.

Уж солнца раскаленный шар
С главы своей земля скатила...
Грудь дышит легче и вольней,
Освобожденная от зноя...
И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды¹²⁰.

Но выкатится снова раскаленный шар, и снова будет зной и бред. Вся природа, как умирающий от жажды, пьет студеную воду во сне, но жажда не утоляется. Вечный зной, вечный бред. Ни освеженья, ни забвенья — только беспамятство:

Беспамятство, как Атлас, давит сушу...¹²¹

Беспамятство, безумие — не только в человеке, но и в природе:

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод.
Там, в беззаботности веселой,
Безумье жалкое живет...
Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.
То вспрыгнет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснувшей земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.
И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход¹²².

Но ни на небе, ни на земле нет вод утоляющих. «Пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Никто не услышит этой мольбы, потому что и слышать некому.

Зло в человеке, зло в природе — и зло на зло откликается: когда человек входит в природу, вся она в смятении:

И мы вошли: все было так спокойно,
Все так от века мирно и темно.
Фонтан журчал, недвижимо и стройно
Соседний кипарис глядел в окно.
Вдруг все смутилось: судорожный трепет
По веткам кипарисным пробежал;
Фонтан замолк, и некий чудный лепет,
Как бы сквозь сон, невнятно прошептал...
Что это, друг? Иль злая жизнь недаром,
Та жизнь — увы! — что в нас тогда текла,
Та злая жизнь с ее мятежным жаром
Через порог заветный перешла?¹²³

Злая жизнь переходит из тела человеческого в тело природы, как жар болезни, как зараза, чума. Пир жизни — пир во время чумы. Кубок жизни отравлен:

И девы-розы пьем дыханье,
Быть может, полное чумы¹²⁴.

Здесь уже в Пушкине — Тютчев, в самом здоровом — самый больной. Жизнь природы кажется невинной, по крайней мере, невиннее, чем жизнь людей. Но это обман.

Вчера, в мечтах обвороченных,
С последним месяца лучом
На веждах темно-озаренных,
Ты поздним позабылась сном...
Но сквозь воздушный завес окон
Недолго лился мрак ночной...
Вот тихоструйно, тиховойно,
Как ветерком занесено,
Дымно-легко, мглисто-лилейно
Вдруг что-то порхнуло в окно.
Вот невидимкой пробежало
По темно-брезжущим коврам;
Вот, ухватясь за одеяло,
Взбираться стало по краям;
Вот, словно змейкой извиваясь,
Оно на ложе взобралось,
Вот, словно лента развеваясь,
Меж пологам развилось.

Вдруг, животрепетным сияньем
 Коснувшись персей молодых,
 Румяным, громким восклицаньем
 Раскрыло шелк ресниц твоих¹²⁵.

Что это? А вот что:

На небе полоса видна —
 И, словно скрытой страстью рдея,
 Она все ярче, все живее,
 Все разгорается она¹²⁶.

И у невинной девушки —

Алели щеки, как заря,
 Все ярче рдея и горя¹²⁷.

Это — рдение страсти, огонь злой жизни. Вот что крадется на ложе невинности. Свет как соблазн, как обольщение, растление Девственности — Ночи. Свет — зло, свет — грех, свет — смерть, ибо «жалю греха — смерть». Не Бог, а дьявол сказал: да будет свет!

У Достоевского Свидригайлову снится сон: мертвая девочка встает в гробу и тянется к нему с нечистою ласкою: такова природа Тютчева.

И вот почему свет его — рдеющий, свет тления, сумеречный свет гниения, разложения, тусклый свет зарниц:

Одне зарницы огневые,
 Воспламеняясь чередой,
 Как демоны глухонемые,
 Ведут беседу меж собой.
 Как по условленному знаку,
 Вдруг неба вспыхнет полоса...
 И вот опять все потемнело,
 Все стихло в чуткой темноте,
 Как бы таинственное дело
 Решалось там, на высоте¹²⁸.

И когда еще нет грозы, по тому, как рдеют звезды, видно, что будет гроза.

Тихой ночью, поздним летом,
 Как на небе звезды рдеют!
 Как под сумрачным их светом
 Нивы дремлющие зреют...¹²⁹

Колдовское небо заколдовывает землю и плод земли, зреющий хлеб: люди съедят хлеб и будут заколдованы, отравлены. Так вот какое «таинственное дело» решается там, на высоте: злое дело, злая жизнь мира.

Но нет злее зла, чем то, что мир любит зло, космос любит хаос.

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!¹³⁰

И добрый любит зло, и невинный любит грех, и здоровый любит болезнь.

Люблю сей Божий гнев, люблю сие незримо
Кругом разлитое, таинственное зло...¹³¹

Да, можно и ее любить, лихорадку болотную, «Маларию».
«Люблю зло» — это он первый сказал, но не первый почувствовал.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы!¹³²

Опять в Пушкине — Тютчев, в самом здоровом — самый больной.

В космос врывается хаос, как пена ревуших валов в немые видения спящего на море. Хаос вкраплен в космос, и человек жадно ищет этих крапин, этих прорех в златотканом покрове дня, сквозь которые зияет ночь, — и как рад, когда их найдет!

Вечер мгlistый и ненастный...
Чу! не жаворонка ль глас?..
Ты ли, утра гость прекрасный,
В этот поздний, мертвый час?..
Гибкий, резвый, звучно-ясный,
В этот мертвый, поздний час.
Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс!¹³³

Так на безумие природы откликается безумие души человеческой.

Или осенней порой —

Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее доли,
Вдруг ветер повеет, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою
И душу мне обдаст как бы весной¹³⁴.

Или в веселом грохоте летних бурь, вдруг

...вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно...
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу¹³⁵.

И человек опять рад: нашел-таки, чего искал, в цвете жизни увядание, разрушение, тление — родимое пятнышко хаоса.

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас!

Вот почему —

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть...
Зловещий блеск и пестрота деревьев,
Багряных листьев томный, легкий шелест...
Ущерб, изнеможенье, и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья¹³⁶.

Любовь к страданию — любовь к злу, к разрушению, к хаосу.

В рдеющей дымке зноя — накопление грозы: в каждом луче полдня — зародыш тьмы; в каждом дыхании космоса — зародыш хаоса.

В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы...
Дева, дева, что волнует
Дымку персей молодых?
Что мутится, что тоскует
Влажный блеск очей твоих?
Что, бледнея, замирает
Пламя девственных ланит?
Что так грудь твою спирает?¹³⁷

Что? А вот что:

И гроб опущен уж в могилу...
Спирает грудь тлетворный дух¹³⁸.

Жар жизни — жар тления. В избытке жизни — семя смерти.
Грозное — сладострастное; сладострастное — смертоносное.

Глаза, потупленные ниц
В минуты страстного лобзания,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огонь желанья¹³⁹, —

эти глаза — то же, что небо, полное грозою:

Словно тяжкие ресницы
Разверзались порою,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загорались над землею¹⁴⁰.

Зеницы хаоса: его огонь — в любви и в грозе.

Любовь и ненависть, любовь и смерть, любовь и убийство —
«близнецы».

О, как убийственно мы любим!
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!¹⁴¹

Жажда любви — жажда смерти, самоубийства.

И кто, в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и любовь!¹⁴²

Жизнь — зло, жизнь — боль; чем живее, тем злее, большее. Бегство
от зла, от боли — бегство от жизни — смерть.

Под мнимую волею к жизни скрывается действительная воля к смерти.
Космос взывает к хаосу.

Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!¹⁴³

Природа — не дневная, призрачная, не «мир, как представление»,
а ночная, истинная, «мир как воля», —

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной¹⁴⁴.

Все явления мира вызывают к своим тайным сущностям — к бурям
воли, бурям хаоса, как желтые листья — к осенним ветрам:

О буйные ветры,
Скорее, скорей,
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
Сорвите, умчите, —
Мы ждать не хотим!
Летите, летите, —
Мы с вами летим!¹⁴⁵

Весь мир — полет к смерти, к небытию. Все явления, все образы,
все лики мира плывут в бездну роковую, как тающие льдины в океан:

Все вместе, малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все, безразличны, как стихия,
Сольются с бездной роковой.
О смертной мысли обольщенье,
Ты, человеческое я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?¹⁴⁶

Жизнь личности — только обольщение мысли, обман чувств, ми-
молетное видение, подобное радуге:

Смотри — оно уж побледнело;
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь, и живешь¹⁴⁷.

Жизнь личности даже не дым, а только «тень, бегущая от дыма».
«Мы смутно сознаем самих себя лишь грезою природы». «Человек
лишь снится сам себе».

Начало космоса, порядка есть начало разделения, различия (*principium individuationis*), начало личности; смерть — уничтожение космоса, уничтожение личности. В этом Тютчев не сомневается, верит в это со странною легкостью:

Бесследно все, и так легко не быть...¹⁴⁸

Жадно верит, потому что жадно хочет: ему не нужно бессмертья — ему нужна смерть.

Таково противоречие, заключенное в индивидуализме: от самоутверждения — к самоотрицанию личности. Потому-то индивидуализм и утверждает личность во времени так отчаянно, что отрицает ее же в вечности так безнадежно; для того-то и цепляется так судорожно за мнимую личность — «обольщение мысли», «обман чувств», чтоб не сорваться в пустоту безличного. А когда все-таки срывается, то утешает себя: в личности корень зла, корень страдания; я страдаю, потому что я — я; не будет меня — не будет страдания. И отсюда вывод: слепую волю к смерти надо сделать зрячею — и мир будет спасен, т. е. уничтожен. Таков последний вывод буддийской метафизики.

В начале:

Лишь жить в самом себе умей¹⁴⁹, —

а в конце:

О, смертной мысли обольщенье,
Ты, человеческое я!¹⁵⁰

В начале:

По высям творенья, как Бог, я шагал¹⁵¹, —

а в конце:

Бесследно все, и так легко не быть¹⁵².

В начале — самообожествление, а в конце — самоистребление личности.

Таков заколдованный круг одиночества.

Там, в беззаботности веселой,
Безумье жалкое живет¹⁵³.

Это безумие не только у Тютчева, но и у многих из нас: он сказал — мы сделали.

Индивидуализм приводит к пантеизму, обожествление человеческой личности — к обезличению Бога. Узнав по собственному опыту, какое ничтожество обожествленная личность, человек делает Бога безличным, чтобы спасти Его от ничтожества.

Игра и жертва жизни частной,
Приди ж, отвергни чувств обман...
И жизни божески всемирной
Хотя на миг причастен будь!¹⁵⁴

Божески или дьявольски всемирной — это еще вопрос. Ведь если у Бога нет лица, то как отличить Бога от беса? Ночью все кошки серы, в пантеизме все боги — бесы.

Когда пробьет последний час природы, —
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!¹⁵⁵

Божий ли? Хаос — не только в начале, но и в конце мира. Мир, космос — только движение от хаоса к хаосу, — кто поверит, что *такой* мир создан Богом, а не дьяволом?

Пантеизм — утверждение: Бог все — от атеизма — утверждения: Бог ничто, нет Бога, — отделяет один волосок.

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней!¹⁵⁶

Никакой загадки, ни Божеской, ни дьявольской. Все ясно, все просто, все плоско. Глухая тьма, глухая стена, о которую можно только разбить себе голову. И в природе, так же как в людях, — «насилье безмерной пошлости». Весь мир — даже не дьяволов, а ничей водевиль — пустышка, гнилой орех или гриб-дождевик, который, если проткнуть его, рассыпается черною пылью. Нечего стремиться к хаосу: мир уже хаос; нечего жаждать смерти: жизнь уже смерть.

Кажется, от этого последнего вывода Тютчев отшатнулся в ужасе и ухватился за христианство, как утопающий за соломинку.

«Надо преклониться перед *безумием креста* или все отрицать», — сказал он однажды в беседе с приятелем.

О своем неверующем веке говорит, как врач о больном:

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он
И жаждет веры, но о ней не просит¹⁵⁷.

Но у кого просить, если природа — сфинкс без загадки? Лепечет мертвыми устами мертвые слова, в которые надо бы верить, если бы верилось:

Нет, увядание земное
Цветов не тронет неземных...¹⁵⁸

Перед его же собственной силой отрицания, как это холодно, как похоже на умную речь сановитого пастора:

И над могилою раскрытой
Ученый пастор сановитый
Речь погребальную гласит:
Вещает бренность человечью,
Грехопадение, кровь Христа...
И умною, пристойною речью
Толпа различно занята¹⁵⁹.

Речь умная, а все-таки —

Спирает грудь тлетворный дух...¹⁶⁰

И вот, наконец, последнее признание:

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе!¹⁶¹

В этом бездонном отчаянии всего ужаснее то, что оно такое тихое, ясное: чем яснее, тем бездоннее.

По сравнению с нигилизмом Тютчева добрый старый нигилизм русских мальчиков по Молешотту и Бюхнеру — какая детская шалость! Они ведь сами не знают, о чем говорят, — целят мимо. Тютчев знает, — целит верно. Их нигилизм плоский; его — из глубины глубин. Он заглянул туда, куда почти никто не заглядывал. И вот все-таки решил: там ничего нет, ни Бога, ни дьявола.

И когда он это решил, то лицо у него стало «страшное, темное, нечеловеческое», как у того порченого, бесноватого Якова.

«— Я его вижу...

— *Ego?* Кого его?

— Да того... что к ночи называть неудобно...

— Да это тень тебе мерещится... это чернота от тени...»

Чернота от тени легла на него и окружила его «паническим ужасом».

Бедный Тютчев! Бедные мы! Он только рассказал то, что происходит во многих из нас. Ведь не он один повстречался в лесу со «старичком зеленым».

III

И вот после всего этого — христианнейшая политика. Что за бессмыслица или что за бессовестность!

«Чтобы сделать соус из зайца, нужно зайца»; чтобы сделать христианскую политику, нужно христианство. А буддийский нигилизм Тютчева так же похож на христианство, как цианистый калий на варенную соль.

Тютчев умен, и политика его неглупая; что же касается до совести, то она менее всего в политике. И. С. Аксаков верно заметил, что славянофильство Тютчева было «чем-то отвлеченным, а не делом жизни»¹⁶².

Политика — игра. Из всех детских игр — самая детская; из всех «златотканых покровов дня» — самый призрачный. Если жизнь — тень, то политика — тень тени; если жизнь — сон, то политика — сон во сне. Что же с нее и спрашивать? Чем бы дитя ни тешилось...

Как «игре ума» должно ей отдать справедливость: златотканый покров лжи Тютчев тклет из настоящего или почти настоящего золота. Это, конечно, не древневизантийский и даже не древнерусский подлинник, а подделка. Но зато какое искусство в подделке, какое варварское великолепие красок! Все крестики да орлики, а между ними страшилища, которые могли прийти в голову только утонченному варвару. Что варварство может быть утонченным, это он уже знает: дряхлые византийские эллины любят юных варваров, между прочим, и славян (тоже «славянофилы»), потому что отдыхают от своих утончений и пресыщений на их варварской дикости.

Но для тех, для кого политика не игра ума, а дело жизни, византийская реставрация Тютчева — кощунство из кощунств, мерзость из мерзостей. К счастью, те и не знают ее, — к счастью, а может быть, и к несчастью, потому что главная слабость русской общественности — слишком легкое отношение к силам врага, убеждение, что старый порядок в России держится только «штыками да пушками». Это самообман: как всякое умирающее, но все еще живое тело, старый порядок держится духом живым, т.е. внутренним ладом, строем, стилем жизни. Вот этот-то стиль, древнерусский или византийский, и выразил Тютчев в точнейшей математической формуле.

Одно из свойств русского славянофильства — мягкотелость, бескостность, неумение или нежелание доводить мысль до конца, договаривать, ставить точки над *i*, — свойство, которое делает славянофильство ни Богу свечкой, ни чёрту кочергой.

В чем другом, а в этом нельзя обвинять Тютчева: он вкладывает кости в тело, ставит точки над *i*. У него беспощадная логика: стоит принять послылки, чтобы сделать неизбежными выводы.

Сущность революции — человеческое я, ставящее себя на место Бога; «самовластие человеческого я, возведенное на степень политического и социального права». Эта сущность — антихристианская, «антихристова», ибо «антихрист» и есть человек, поставивший себя на место Бога, «человекобог».

Таковы послылки, а вот и выводы.

Сущность Европейского Запада — революция, антихристианство, т.е. ложь, а человеческое общество, построенное на лжи, обречено на гибель.

«Будет ли Франция иметь силу отречься от революции и сделаться снова христианской и монархической?» — спрашивает Тютчев в 1870 г., накануне Коммуны. «Если нет, — решает он, — то гибель ее неизбежна»¹⁶³. И не только гибель Франции, но и всего Европейского Запада. «Запад отходит, все рушится, все гибнет в этом общем пожаре. Цивилизация убивает себя своими собственными руками», — предсказывал он еще в 1848 г.¹⁶⁴ И в 1873 г., после Коммуны: «Что-то вроде размягчения мозга у целой нации... Состояние, близкое к идиотизму... Судорога бешенства овладела Европою... Целый мир стал воплощенной ложью»... Последнее слово Запада — «слово Иуды, который, предав Христа, очень умно рассудил, что ему остается одно: удавиться»¹⁶⁵.

Все вообще славянофилы ненавидят Запад, может быть, не менее Тютчева, но стыдятся, робеют и сами не знают, что делают, когда с медвежьей ловкостью сгоняют муху со лба спящего друга булыжником.

Тютчев знает. Правда, это для него только «игра ума»; но что для него игра, то для других дело. Все мысли Достоевского о «человекобожестве» революции — почти дословное повторение Тютчева.

Люди стыдливо скрывают тайну своего зачатия и рождения: так славянофилы скрывают ненависть к Западу, из которой они родились. Тютчев обнажил этот стыд, и если нагота оказалась чудовищной, то вина не его, а русского стиля, «русского духа» <...>.

Таков стыд славянофильства, обращенный к Западу, а вот и другой стыд, обращенный к России:

Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя¹⁶⁶.

Христос благословил Россию, а все остальные народы проклял.

В мире только две силы: Россия и революция. «Между тою и другою не может быть ни договоров, ни сделок: что для одной жизнь, то для другой смерть. От исхода борьбы зависит вся будущность человечества... Над громадным крушением Запада всплывает еще более громадная Русская Держава святым ковчегом... Кто дерзнет усомниться в ее призвании?»

Не верь в святую Русь, кто хочет, —
Лишь верь она себе самой!¹⁶⁷

«Ну вот, мы в схватке со всею Европою (в 1854 г., накануне Севастополя). Это заговор. В истории не бывало примеров гнусности, замысленной и совершенной в таком объеме...» Ополчение Европы — ополчение безбожия против России, самого «антихриста» против Христа:

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы!¹⁶⁸.

«Дело идет о последней борьбе всего Запада с Россией. Очень возможно, что Россия погибнет. Но если бы случилось, что погибнет не она, то уже не с Россией придется иметь дело Западу, а с чем-то исполинским и окончательным, чему еще нет имени в истории». Предсказание Наполеона на Св. Елене: «Через 50 лет Европа будет революционной или казацкою (т.е. русскою)», — уже исполняется.

Революция и Россия — «море и утес». Волны бьют об утес — разбиваются и рано или поздно присмиривают окончательно.

И без вою, и без бою,
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна¹⁶⁹.

И как Хомяков предсказывал:

И другой стране смиренной
Бог отдаст судьбу вселенной
Меч земли и гром небес¹⁷⁰.

От такого смирения сам дьявол не отказался бы. Иногда кажется, что Тютчев смеется. Но нет, не смеется, а только усмехается, радуясь великолепным страшилищам.

Всего бесстыднее открывает он наготу славянофильства там, где оно всего стыдливее, — в вопросе о религиозном смысле самодержавия.

«Верховная власть народа (La souveranete du peuple) есть по существу своему идея антихристианская». Верховная власть народа и власть царя исключают друг друга. А как же 1612 год (т. е. избрание на Царство Романовых)? — спрашивает Хомяков¹⁷¹. Вопрос имел бы смысл для Тютчева, если бы царская власть была *только* мирскою: такая власть действительно зависит от избрания народного. Но власть царя, и мирская и церковная вместе, — власть от Бога, помазание Божие; царь не только царь, глава государства, но и первосвященник, глава церкви, наместник Христа, папа, хотя и обратный, потому что в Риме церковь становится государством, а в России государство — церковью.

В этой противоположности двух теократий, восточной и западной, заключается главная мысль Достоевского, который идет дальше всех славянофилов; но и он до конца не доходит. Тютчев дошел до конца.

О, будь же, царь, православен и храним,
Но не как царь, а как наместник Бога¹⁷²,

т. е. как папа Третьего, Русского Рима.

Он божеством себя провозгласил;
О новом Богочеловеке
Вдруг притча родилась и в мир вошла¹⁷³, —

мог бы сказать Тютчев о папе не только Первого, но и Третьего Рима.

«На российском престоле находится государь, в котором воплотилась *русская мысль*», т. е. мысль о царе как о первосвященнике. В 1846 году император Николай I посетил Рим, был в соборе св. Петра и молился у гроба апостолов. «Коленопреклоненный царь был не один, — говорит Тютчев. — Вся Россия была там, склоняя колена вместе с ним. Будем же надеяться, что не напрасно вознеслась ее молитва перед святыми останками» («Папа и римский вопрос», 1849 г.).

Между тем как новые славянофилы (Булгаков, Бердяев, Эрн, Флоренский и все вообще «веховцы») косноязычно мямлят, — Тютчев говорит ясно и отчетливо: самодержавие с православием связаны как внешность и внутренность, форма и содержание, тело и дух. Самодержавие — Апокалипсис православия; православие в самодержавии исполняется. Разорвать их значит убить.

И, наконец, последний вывод — русская всемирная империя.

«Нельзя отвергать христианскую империю, не отвергая христианской церкви. Они обоюдны (*corrélatifs*). Церковь, освящая империю, ее себе приобщила и сделала ее *окончательною* (абсолютною)»¹⁷⁴. Единая вселенская церковь — единая вселенская империя.

Ее восстановлению должны содействовать два великих дела: в области светской — образование Греко-Славянской империи; в области духовной — воссоединение церквей, или, вернее, поглощение западной церкви восточную.

«Империю существовала всегда, только меняла властителей. Четыре империи: Ассирийская, Персидская, Македонская, Римская. С Константина Равноапостольного начинается пятая, окончательная — христианская. Ее завершение — Россия...»¹⁷⁵.

...Не замыкается ли здесь поэзия с политикой в один заколдованный круг? Не так же ли и здесь воля космоса к хаосу?

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!¹⁷⁶

И лицо самого колдуна не становится ли снова «темным, страшным, нечеловеческим»?

Всемирная монархия на самом деле не последний, а только предпоследний вывод: несмотря на всю свою логику, последнего вывода Тютчев так и не делает.

«Рим счел себя вправе устроить царство Христово, как царство от мира сего».

И святотатственной опеке
Христова церковь предана была...¹⁷⁷

«Разве присваивать себе божественное не значит отрицать его?»¹⁷⁸

Свершится казнь в отступническом Риме
 Над лженаместником Христа...
 Не от меча погибнем от земного
 Мечом земным владевший столько лет, —
 Его погубит роковое слово:
 «Свобода совести есть бред»¹⁷⁹.

Свобода — бред, но ведь это и есть основная посылка Тютчева, из которой он делает свои выводы. Дух свободы, дух революции — «антихристов дух».

Византийская реставрация Тютчева, эта драгоценная ткань, оказалась непригодной для русской политики: дело обошлось дешевле. Но на полинялой тряпице современного национализма, если всмотреться в него, можно узнать тот же узор — «орлики да крестики», как на златотканой ризе Тютчева...

В 1855 г., во время коронации Александра II в Москве, глядя с первой площадки Ивана Великого на толпу, ожидавшую царского выхода, Тютчев испытывал странное чувство: ему казалось, что прошли века и «суд Божий совершился Великая Империя основалась». «Она вступала в свое бесконечное поприще там, в странах иных, под солнцем более ярким, ближе к дуновениям юга и Средиземного моря. Новые поколения овладели миром... и едва помнили о той тесной тьме, в которой мы теперь обитаем... И тогда все это Кремлевское зрелище, при котором я присутствовал, эта толпа, так мало подозревающая, что висит над нею в будущем, давящая друг друга, чтоб только увидеть царя, — все это показалось мне каким-то видением далекого прошлого, а люди, что около меня двигались, как будто уже давно исчезли с лица земли. Я вдруг почувствовал себя современником правнуков...»

Казалось бы, радоваться? Но вот вместо радости — тоска...

Что это значит? Или свет вечности — такой же болезненный, как свет смертного дня?

О, как лучи его багровы!
 Как жгут они мои глаза!¹⁸⁰

Как бы то ни было, но лгать он больше не мог.

«Я сделал то, что было свойственно моей природе: я убежал из церкви и, одинокий, вернулся прямою дорогою в мою комнату,

к моему шлафроку и к моему завтраку». К обломовскому шлафроку и завтраку.

«Убежал из церкви», как «порченный» Яков, сын о. Алексея.

Этим и кончилась его политика. Жизнь народов, жизнь всех — такое же ничтожество, как жизнь каждого человека в отдельности, — тень тени, сон во сне.

Бесследно все, и так легко не быть¹⁸¹.

Вернулся в молчание, в уединение. И, оглядываясь на свою жалкую попытку подойти к людям, мог бы осудить себя снова страшным судом:

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе!¹⁸²

Как такая политика соединяется с таким нигилизмом? Этот вопрос надо повернуть обратно: как такой нигилизм мог бы соединиться с *иной* политикой?

Нигилизм Тютчева вскрывает самую сущность того, что выдает-ся и по сей день за русский стиль, за русский дух. Тютчев не лучше и не хуже других славянофилов: он только правдивее всех.

IV

Правдивость — оправдание поэта: ведь поэзия не что иное, как высшая степень правдивости.

Самой страшной и жалкой правды о себе никто никогда не высказывал безжалостнее, бесстрашнее Тютчева. Может быть, эта последняя правдивость — от последнего одиночества. Есть такие признания, которых люди не делают не только другим, но и себе. Тютчев их делает, потому что не боится быть подслушанным: он всегда один, бесконечно далек от людей, невидим для них, как «дневная звезда».

Когда человек один, то молчит или говорит с самим собою беззвучным, внутренним шепотом. Слова Тютчева — такой шепот: они менее всех человеческих слов нарушают молчание.

Поэт может знать правду о себе, не зная правды о людях, о мире, о Боге; знать правду личную, не зная правды общей. Такова поэзия Тютчева.

Только раз в жизни прикоснулся он к общей правде — в любви. Уже почти стариком он полюбил молодую девушку.

«Читая его дышащие страстью письма, отказываешься верить, что они не вышли из-под пера впервые полюбившего 25-летнего юноши», — говорит лицо, близко знавшее Тютчева.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь,
Ты и блаженство, и безнадежность!¹⁸³

Мы почти ничего не знаем об этой любви; нам осталось от нее только несколько песен, ни с чем не сравнимых в русской, а может быть, и во всемирной поэзии.

Он пожертвовал любви семейным счастьем, добрым именем, успехом в жизни, а главное, тем покоем, которым больше всего дорожил. И не только собою, но и ею, любимой. «Был палачом и жертвою вместе», — говорит тот же свидетель. Любя, убивал.

О, как убийственно мы любим!

Это длилось 14 лет, до самой ее смерти.

Весь день она лежала в забытии,
И всю ее уж тени покрывали;
Лил теплый дождь, его струи
По листьям весело звучали.
И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу.
И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как все это я любила!»¹⁸⁴

Вот когда он вышел из созерцания в действие, потому что любовь и есть главное действие, дело жизни; вот когда понял или, по крайней мере, мог бы понять, что правда молчания, уединения —

Лишь жить в самом себе умей, —

еще не последняя.

На стон умирающей:

«О, как все это я любила!» —

почему не ответил:

Бесследно все, и так легко не быть?

Не быть — не любить: только нелюбящий может принять смерть как небытие. Любящий любит живое лицо любимого. Любовь есть воля к бессмертью личности.

Вот бреду я по большой дороге,
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?¹⁸⁵

Если конец жизни — конец всего, то и спрашивать нечего.

Смерть — освобождение от муки жизни: так — в созерцании, в неделании, а как доходит до дела, сердце хочет муки, потому что хочет любви:

О, Господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей!
Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней!¹⁸⁶

Да, Тютчев мог бы спастись любовью, и если не спасся, то был уже на краю спасенья. Но не понял этого — не понял и погиб или думал, что гибнет.

«Мое душевное состояние ужасно. Я изнываю в темной, бездонной пропасти. Смысл моей жизни утрачен, и для меня ничего более не существует», — писал он в эти дни¹⁸⁷.

«Когда Тютчев вернулся из Ниццы в Париж, мы, чтобы переговорить, зашли в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, сели под трельяжем из плюща. Я молчал все время, а Тютчев болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшей от падавших на нее слез» (Рассказ И. С. Тургенева в «Воспоминаниях» Фета).

На «Молчание», *Silentium*, на всю жизнь и поэзию Тютчева лучший ответ эти слезы.

В конце 1872 года он заболел. Как все одинокие, боялся остаться один и жался к людям. Несмотря на предостережения врачей, уже

совсем больной, продолжал свою светскую жизнь. 1 января 1873 года вышел поутру из дома для новогодних визитов. Вскоре привезли его домой, разбитого параличом.

«Прикованный к постели, с ноющею и сверлящею болью в мозгу, не имея возможности ни приподняться, ни перевернуться без чужой помощи, голосом едва внятным он требовал, чтобы ему сообщали все политические и литературные новости. Порывался встать на ноги, вернуть себе свободу движений, выйти на вольный воздух, но, изнеможенный от напрасных усилий, падал в обморок» (Аксаков)¹⁸⁸.

Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет и не может.

11 июня сделался новый припадок: его внезапно охватили судороги и сменились оцепенением. Все думали, что он умирает; «но недвижимый, почти бездыханный, он сохранил сознание». И когда через несколько часов оцепенение миновало, он произнес чуть слышным голосом: «Какие последние политические известия?» Большую часть дня лежал, как бы в забытьи или полусне, как тот созерцающий лебедь, —

Скользя между двойною бездною

«Er horcht, er denkt (он слушает, он думает) — замечал доктор.

Вокруг него велись речи его домашними, но он молчал».

Какова жизнь, такова и смерть: в молчании жил, в молчании умер.

Через 9 дней припадок повторился; теперь уже никто не сомневался, что он умирает. Священник прочел над ним отходную. Но через полдня умирающий ожил, а когда его стали поздравлять и обнадеживать, он только усмехнулся:

«— А ведь меня уже отпели...

И тотчас прибавил:

— Какие получены подробности о взятии Хивы?»¹⁸⁹

Все еще старался удержаться над бездною ночи «покров дня».

Но меркнет день, настала ночь;
Пришла — и, с мира рокового
Ткань благодатную покрыва
Сорвав, отбрасывает прочь...¹⁹⁰

Доктора уверяли, что ему остается жить день-два, но он прожил еще три недели. И все молчал.

Ранним утром 15 июля лицо его приняло внезапно выражение какого-то торжественного ужаса; «глаза широко раскрылись, как бы вперились вдаль; он не мог не шевельнуться, ни вымолвить слова, — казалось, весь уже умер. Но никогда лицо его так не светилось мыслью, как в этот миг», — рассказывали потом присутствовавшие при его кончине. «Просиял и погас», — уверяет Аксаков.

Как погас, мы видели; но как просиял, не видим. Его судьба — наша: если он просиял, то и мы тоже; но просияем ли, это еще вопрос.

Во всяком случае то, в чем видит Аксаков спасение Тютчева — его православие, — сомнительно. Недаром усмехается он в такую минуту, когда люди вообще не смеются.

— А ведь меня уже отпели...

Это отпевание — не пение ли жаворонка в тот вечер мгlistый и ненастный, в поздний, мертвый час?

Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс...¹⁹¹

Нет, чем бы ни спасся он, — только не этим.

«Не хочу я верить, чтобы Господь стал судить его Своим строгим судом», — говорит о. Алексей о своем погибшем сыне.

Мы видели гибель Тютчева здесь, на земле; чтобы увидеть его спасение в вечности, нам нужно понять, что соединяет его с существом, наиболее противоположным и подобным ему, быть может, не только здесь, но и в вечности, — с Некрасовым.

V

Лет шесть назад, около 1907–8 года, в Париже, зайдя к одному русскому эмигранту, будущему автору «Коня Бледного», Ропшину, я увидел у него на столе маленькую знакомую книжку, «Стихотворения» Тютчева, и удивился, огорчился: как, неужели и здесь та же зараза, от которой я бежал из России?

Но скоро я понял, что это не так: не для отвлеченной эстетики, не для созерцания, а для действия, для дела жизни, все для того же дела общественного нужен был Тютчев автору «Коня Бледного», точно так же как Некрасов нужен был тому поколению, из которого вышли народовольцы 70-х годов.

Тютчев — боль, но боль может быть ростом; Тютчев — яд, но яд может быть лекарством. Я понял, что Ропшин растет и лечится Тютчевым; растет из Некрасова, как из детских одежд, и лечится от Некрасова, как от детской болезни. Я понял, что Ропшин тянется к Тютчеву, точно так же, как Некрасов некогда тянулся к нему.

Некрасов — поэт общественности, Тютчев — поэт личности. Но правда личности — такая же вечная, как правда общественности. То, что я — я, так же таинственно, божественно, как и то, что все — все, другое великое Я — народ, человечество, общество. Индивидуализм, анархизм так же вечен и не полон, как социализм. Я могу жертвовать собою для всех, но все не могут мною жертвовать. Я один, единственный — такая же ценность для всех, как все для меня. Мир погибнет, а все-таки я — я, не только во времени, но и в вечности. Я себя не от людей принял и не людям отдам.

So bin ich ewig, denn ich bin!
Итак, я вечен, потому что есмь!
(«Прометей», Гёте)

Вот эту-то правду личности, правду одного-единственного (индивидуализм — анархизм), противопоставленную правде всех, правде общественной (социализму), Некрасов лишь смутно предчувствовал, но не создавал.

Ее создало или уже почти сознает поколение, из которого вышел автор «Коня Бледного». За этою правдой оно и потянулось к Тютчеву.

Лишь жить в самом себе умей, —

правду молчания, уединения Ропшину надо было принять, чтобы противопоставить иной правде, именно здесь, в самом острие двух правд — в вопросе о революционном насилии, убийстве, терроре: «Нельзя и надо убить».

Поколение Ропшина не только услышало зов Некрасова, но и пошло на зов:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагрющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!¹⁹²

Но вот и любящие обагрят руки в крови; любя, ненавидят; любя, убивают.

О, как убийственно мы любим!

В видении «Коня Бледного» Некрасов и Тютчев соприкасаются, как два грозových тока в молнии.

О, бурь уснувших не буди,
Под ними хаос шевелится!¹⁹³ —

это можно сказать не только о бурях пола, бурях личности, но и о бурях общечеловечности.

Хаос ответил хаосу, террор пола и личности — террору общественному. От убийства к самоубийству, от убийственного соединения к самоубийственному уединению — таков наш путь.

Один ли Тютчев — «порченный», «сглаженный»? Нет, не один. Ко многим пришел «тот, кого к ночи называть неудобно», с лицом Азефа-provokatora; на многих легла «чернота тени» и окружила их «паническим ужасом».

Неправда личная, зло мировое заслоняются от Некрасова неправдой общественной, злом человеческим; от Тютчева — наоборот, неправда общественная — злом личным и космическим. Некрасов не видит смерти за жизнью; Тютчев не видит жизни за смертью.

Но Некрасов понял Тютчева, хотя бы только предчувственно, бессознательно, ибо «многое можно знать бессознательно» (Достоевский). А Тютчев не понял Некрасова. Вот почему сейчас, но, может быть, именно *только сейчас*, Некрасов нам ближе, нужнее, современнее Тютчева.

К Некрасову мы были неправы в нашем декадентстве вчерашнем; будем же неправы и к Тютчеву в нашей сегодняшней общечеловечности, чтобы восстановить правоту последнюю, понять и соединить обоих.

И вот почему из подземной пещеры тютчевской Музы, Аэндорской волшебницы, где нашептано, накурено, наколдовано так «тихоструйно, тиховойно, дымно-легко, мглисто-лилейно», мы выходим с такою отрадою на вольный воздух, на Божий свет, хотя и на будничней, серенький день — «понедельник» Некрасова.

Сейте разумное, доброе, вечное!

Это обыкновенно, однозвучно, как шелест осенней капли или чуть слышный шелест слез людских, но зато нужнее сейчас — нужнее, добрее, святее, а значит, и прекраснее, чем те заклинания волшебные.

Некрасов погибал со всеми, Тютчев — один. Но оба могли бы сказать, как Некрасов умирающий: «Ничего не понимаю, что со мною делается!» И мы все, погибая в злом соединении, в безличной общечеловечности — с Некрасовым, в злом уединении, в безобщечности

личности — с Тютчевым, могли бы сказать: ничего не понимаем, что с нами делается!

И если погибнем, то гибель наша будет здесь, в пропасти между Некрасовым и Тютчевым; а единственный путь спасения — мост, соединяющий оба края пропасти.

Тютчев и Некрасов — двойники противоположные. Что противоположны, видят все; что двойники — никто. А стоит взглянуться, чтобы увидеть.

Некрасов весь в бессознательном действии; Тютчев — в созерцании бездейственном. У Некрасова религиозное народничество революционное, во имя России будущей; у Тютчева — консервативное, во имя России прошлой (славянофильство тоже «религиозное народничество», хотя и с *другого конца*).

О самом Некрасове можно бы сказать то же, что он сказал о Чернышевском:

Его послал Бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе¹⁹⁴.

О Христе — о свободе. А Тютчеву и Христос напоминает о рабстве:

Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя¹⁹⁵.

Есть два рода людей. Одни верят или знают (тут знание и вера одно и то же), что, несмотря на всю неправду и зло мира, он все-таки в корне добр: «Все добро зело». А из веры в добро — и воля к добру:

Сейте разумное, доброе, вечное!

Это — христиане, не в историческом временном, а в метафизическом, вечном смысле, хотя бы они во Христа не верили.

Другие верят или знают, что мир в корне зол: «Все зло зело», все к худу. Сколько ни сей доброе, вырастет злое. Это — не христиане, опять-таки в смысле вечном, хотя бы они во Христа и верили.

К первому роду людей принадлежит Некрасов, ко второму — Тютчев. Некрасов извне атеист, внутри верующий; Тютчев извне верующий, внутри атеист.

Но как ни противоположны они, а в какой-то одной точке, именно здесь, в вере, сходятся. Если бы Некрасов хотел, а Тютчев мог верить, это была бы одна вера.

Недаром понял Некрасов, только он один и понял Тютчева.

«Впечатление, какое испытываешь при чтении этих стихов (“Осеннего вечера”), можно сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен».

Да, Некрасов понял тайну Тютчева: вечную влюбленность, Вечную Женственность:

«О, как все это я любила!» —

говорит умирающая возлюбленная и умирающая Муза Тютчева. Уходя от земли, все еще любит землю:

Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-земля!¹⁹⁶ —

говорит Тютчев, и мог бы сказать и Некрасов.

Ты, ты, мое земное Провидение!¹⁹⁷ —

кому и кем это сказано, возлюбленной — Тютчевым или матери — Некрасовым? Земле-Возлюбленной или Земле-Матери?

Оба верят в землю, оба любят землю. Но земля Некрасова — родная, дневная, здешняя:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа¹⁹⁸, —

та самая, которую так хотел и не мог полюбить Тютчев. А земля Тютчева — чужая, ночная, нездешняя:

Край иной — родимый край¹⁹⁹.

Некрасов любит землю, как тело матери, Тютчев — как тело возлюбленной. Вечная Мать — Вечная Возлюбленная. Одна — Земная, другая — Небесная. Сейчас их две, но будет одна: Небесная будет Земной.

Кто это? Что это? Оба не поняли.

Если бы Некрасов понял, что свобода есть Бог; если бы Тютчев понял, что любовь есть Бог, то соединились бы две тайны русской поэзии.

Оба не поняли. Отцы не поняли, дети не понимают, — может быть, внуки поймут?

